

МАРИАМ ПЕТРОСЯН

12+

Дом, в котором...



КНИГА ВТОРАЯ

ШАКАЛИНЫЙ ВОСЬМИДНЕВНИК

LIVE
BOOK

Дом, в котором...

Мариам Петросян

**Дом, в котором... Том 2.
Шакалиный восьмидневник**

Издательство "Livebook/Гаятри"

2008

Петросян М.

Дом, в котором... Том 2. Шакалинский восьмидневник /
М. Петросян — Издательство "Livebook/Гаятри" , 2008 — (Дом, в котором...)

ISBN 978-5-904584-72-6

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс — мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» — лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная.

ISBN 978-5-904584-72-6

© Петросян М., 2008
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2008

Содержание

Ральф. Мимолетный взгляд на граффити	5
Табаки. День первый	21
Курильщик. Проблемы тлей и необученных бультерьеров	25
Дом	33
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Мариам Петросян

Дом, в котором... Том 2.

Шакалиный восьмидневник

Ральф. Мимолетный взгляд на граффити

*Вы дому не нужны – чего ради вы так низко опускаетесь и
нуждаетесь в нем – уходите – уезжайте далеко-далеко от дома.
Б. Дилан. Тарантул*

Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, зная, что никого не встретит. В столовой гудели голоса, тихие, как жужжание пчелиного роя в дупле. *Когда оно в дупле, а ты снаружи и еще не понял, что это за звук, там, в дереве, и что за точки мелькают вокруг, а когда понял, ты уже бежишь...* Он шел медленно, сумка оттягивала плечо. Двери классов открыты, пустые комнаты будто отдыхают перед последними уроками. Двери классов и спален иногда распахивались так внезапно, что можно было получить синяк на лбу, и он давно привык ходить по той стороне, где когда-то были окна, подальше от дверей. Когда он задумался об этом, ему стало смешно.

Пятнадцать лет. За это время можно было бы протоптать тропу, имея под ногами землю вместо паркета. Широкую, заметную тропу. Свою собственную. Как у оленя. Или...

Здесь когда-то были окна. И коридор был намного светлее. Никому и в голову бы не пришло их замуровывать, если бы не надписи. На стеклах не оставалось просветов. «Они» покрывали их надписями и уродливыми рисунками сверху донизу, а как только стекла отмывали, или вставляли новые, все начиналось сначала. Ни дня эти окна не выглядели по-божески. Такое происходило только в этом коридоре. На первом этаже не было окон, выходящих на улицу, а на третьем обитало слишком много воспитателей. Он хорошо помнил, как после очередной замены стекол (всякий раз надеялись, что в них заговорит совесть, но этого так и не произошло) они просто покрасили новенькие, сверкающие стекла черной краской. Он помнил, что почувствовал утром, увидев эти безобразные черные прямоугольники в рамах: он почувствовал ужас, впервые осознав, чем были для них эти окна, с которыми они так варварски обошлись, и проголосовал на общем собрании за то, чтобы их замуровали.

Это не было детской шалостью, как можно было подумать вначале, хотя уже тогда можно было кое о чем догадаться, ведь в спальнях и классах такого не делали. Но, только увидев черные стекла, он понял, насколько его подопечные боятся этих окон, как они их ненавидят. *Окна в Наружность...*

Теперь он шел по той стороне, где окна когда-то были и где их больше не было, отчего коридор стал слишком темным, но вряд ли кто-то в Доме помнил, что раньше он был другим.

После истории с окнами он многое понял. Он был молод, ему хотелось поделиться своими опасениями с кем-нибудь. С кем-то старше и опытнее себя. Теперь он не стал бы этого делать, но тогда это казалось нормальным. Тот раз стал единственным, первым и последним. Больше он не пытался говорить с кем-либо о том, что чувствовал.

Они закрылись от стороны, выходящей на улицу. Другая, со стороны двора, их не беспокоила, хотя двор открывал Наружность не хуже улицы. Но двор, дома, видимые со двора, пустырь и все, что к нему прилегал, они приняли и включили в свой мир. Для этого не требовалось обносить двор бетонным забором, забором стали сами дома. С другой стороны этого не было. *«Они пробуют вычеркнуть все».* Он помнил свои слова, хотя произнес их давно. *«Все,*

кроме себя и своей территории. Они не желают знать ничего кроме того, что есть Дом. Это опасно». Лось засмеялся и сказал, что он преувеличивает.

«Они прекрасно знают, что такое Наружность и как она выглядит. Они выезжают в летние санатории каждый год. Они с удовольствием смотрят фильмы».

Он понял, что не сможет объяснить никогда. Опасность была не в незнании. Она была в самом этом слове «наружность», придуманном ими. Они решили – Дом это Дом, а наружность – не то, в чем он находится, а нечто совсем иное. Никто ничего не понимал. Никто ничего не почувствовал, глядя на черные стекла. Лишь он один испугался, когда его захлопнули в ловушке, лишив возможности видеть то, чего не желали видеть они. Лось был самым умным, но и он не понимал их. *Бедные дети, судьба жестоко обошлась с ними...* Лось верил в это. И тот выпуск мучителей оконных стекол ничему не научил его, хотя перед их уходом Дом пропах влажным ужасом, и Ральф задыхался в его испарениях. Уже тогда ему захотелось сбежать, но он надеялся, что как только этих не станет, все изменится, а с другими все будет иначе, и на какое-то время, совсем ненадолго, это сработало, потому что следующие были еще слишком малы, чтобы всерьез бороться с реальностью. Позже оказалось, что они умеют это не хуже предыдущих, даже лучше, и ему оставалось только следить за ними и ждать. Он считал, что им дают слишком много воли, но на такого рода замечания ему отвечали: «Больные дети!» – и его передергивало от этих слов так же, как их самих, когда они слышали такое. Он наблюдал за ними и ждал.

Пока они не выросли, видоизменяя себя и свою территорию, достигнув возраста, когда полагалось уходить. Те, что были до них – двенадцать попыток самоубийств, пять из них удачные, – попробовали притормозить время по-своему. Эти, уходя, вытянули за собой, как в воронку, все, что их окружало; в этот водоворот попал и Лось, считавший их безобидными детьми. Быть может, он все-таки что-то понял, когда было уже слишком поздно.

Ральфу всегда хотелось знать, о чем Лось думал в те последние минуты, если ему хватило времени о чем-то подумать. Они смели его, как песчинку, как обрывок мусора, приставший к ним на бегу. Не нарочно, они любили его, насколько вообще могли кого-то любить, просто им было уже все равно. Когда наступил их Конец Света, один воспитатель ничего не значил. Ни один, ни двое, ни трое не сумели бы их остановить.

Если бы он остался жив после той ночи, он понял бы то, что понял я намного раньше. Мира, куда их выбрасывают, когда им исполняется восемнадцать, для них не существует. Уходя, они уничтожают его и для других.

Тот выпуск оставил после себя кровавую дыру, ужаснувшую всех, даже тех, кто не имел отношения к Дому, и после смены руководства все учителя и воспитатели покинули его. Все, кроме Ральфа. Он остался. Знакомство с новым директором, далеким от гуманизма, сыграло при этом решающую роль. Остальные – те, кто еще не разбежался после июньских событий, поспешили уйти после встречи с новым директором. Ральф верил, что в этот раз все будет по-другому, что он сам сделает все, чтобы остановить их, когда придет время. Теперь у него была такая возможность, он знал, что нет никого, кто своим мягким отношением к «детям» станет мешать ему.

Он следил за ними с самого начала и видел, как они меняются, замечая это даже прежде, чем они начинали меняться.

Он взял себе третью и четвертую, самых странных и самых опасных – хотя тогда было просто смешно думать о них так. Долгое время он ждал неизвестно чего, пока не заметил: что-то стронулось с места в их комнатах, чем-то эти комнаты стали отличаться от других. А вместе с ними и их обитатели. Это было неуловимое для несведущего изменение, его нужно было чувствовать кожей или вдыхать с воздухом, и часто, неделями, он не мог войти к ним по-настоящему, в место, которое они создали для себя, незаметно изменив существующее на самом деле. Со временем у него это стало получаться все лучше, а потом он с ужасом обнару-

жил, что в зону их невидимого мира проникают и другие, случайные люди. Это могло означать только одно: их мир существовал на самом деле или почти существовал. И он сбежал. Сбежал, уже зная, что вернется, чтобы увидеть, досмотреть до конца, узнать, **ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ У НИХ?** Теперь он сознавал, что не сможет помешать, чем бы это ни было, ему просто нужно было знать, каким оно будет. Потому что пока он учился у тех, что были до них, они учились тоже, и намного быстрее. Им не нужно было бы закрашивать стекла – он был в этом уверен – им достаточно было бы убедить себя, что окон не существует, и, может даже, они перестали бы существовать.

На Перекрестке блестело боками расчехленное пианино. Он наступил на ленту, красной змейкой свернувшуюся под ногами. Теперь он шел по центру коридора – *все еще его тропа...* Три буквы «Р» прыгнули ему навстречу со стены. Как собственная подпись, как знак его присутствия.

Он замер. Его вовсе не звали Ральфом. Он с первого часа возненавидел эту кличку-имя. Именно за то, что она была именем, он предпочел бы называться Барбосом или Мимозой, чем угодно, что звучало бы прозвищем, а не именем, которое могли счесть его собственным. И может быть, именно поэтому, благодаря ненависти к «Ральфу», он остался им так надолго, пережив все прочие клички. Окрестившие его Ральфом успели уйти, успели уйти те, что были малышкой, когда его так называли, и подросли те, кого вообще при этом не было, а он оставался Ральфом, или просто буквой, заглавной буквой с номером. Буква – это было даже хуже. На стенах они писали только так, и между собой чаще употребляли этот вариант, уродуя ненавистную кличку еще более ненавистным сокращением.

Он остановился перед дверью без номера с застекленным окошком вверх. Здесь его поприветствовало еще одно «Р» – мылом на стекле. Он захлопнул дверь и избавился от собственной клички до следующего выхода в коридор. Это был его кабинет и его спальня. Единственный из воспитателей, он ночевал на втором этаже. Акула считал это огромной жертвой с его стороны, и Ральф его не разубеждал. Достаточно было напомнить: «Я нахожусь на круглосуточном дежурстве», – и он получал все, чего хотел, без особых усилий.

Ральф старался соответствовать образу приносящего себя в жертву, хотя страх воспитателей и самого Акулы перед вторым этажом смешил его. Надо было знать их очень плохо или вообще не знать, чтобы подумать, что они полезут громить комнату и резать находящегося в ней воспитателя просто так, потому что плохие или от нечего делать. Он догадывался о существовании Закона. Ему об этом никто не рассказывал, но по некоторым особенностям их поведения он вычислил не только существование Закона, но и отдельные его пункты. Такой, например, как неприкосновенность учителей и воспитателей, надежно защищал его. За редкими исключениями, они держались в рамках Закона. Исключения могли посыпаться дождем в роковой период – за две недели до выпуска.

Сейчас думать об этом было еще рано, бояться тем более, и он не собирался менять комнату только потому, что что-то могло случиться через полгода. Самую большую глупость он совершил, вернувшись. На ее фоне забота о собственной безопасности выглядела бы нелепо. И уж, конечно, он не собирался проводить последние месяцы в Доме в беседах с Шерифом или подвыпившим Ящером, вваливавшимся в любую комнату на третьем, как к себе домой. Пара бутылок пива, считали они, лучший повод зайти, и, оснащенные ими, даже не трудились стучать. По традиции, воспитатели выпивали. Не напивались, как Ящики, а выпивали. Различие было тонким и зачастую малозаметным, хотя они оскорбились бы, отметить это кто-либо вслух. Ящиков оскорбить было труднее. Хотя и они иногда обижались. Например, им не нравилось, когда их называли Ящиками.

Мало кто в Доме знал, что прозвище Ящикам придумал Ральф. Подразумевались не формы и не скудоумие, как считали все, а именно ящики с бутылками. Дать прозвище кому-либо в Доме было легко. Ночью пройти по коридору, выбрать подходящее место на стене и,

подсвечивая фонариком или вслепую, написать то, что нужно, так, чтобы надпись не очень бросалась в глаза. Все равно прочтут. Стены были их газетой, журналом, дорожными знаками, рекламным бюро, телеграфным центром и картинной галереей. Это было просто – вставить туда свое слово и ждать, пока оно подействует. Дальнейшее от него не зависело. Прозвище могли забыть и закрасить чем угодно, могли принять и начать им пользоваться. Ральф редко когда ощущал себя таким молодым, как в ночи вылазок с баллончиком краски. Баллончик и фонарик, больше для этого занятия ничего не требовалось. Это стало намного легче делать, когда он переселился на второй этаж, но тогда же его дважды чуть не застали врасплох, и он перестал вносить свою лепту в прозвища Дома, опасаясь, что рано или поздно его разоблачат. Ему не хотелось подрывать их доверие к стенам, он сам получал оттуда много полезной информации, надо было только не лениться читать и расшифровывать их каракули. Стена была его входом в их жизнь, членским билетом, без которого нельзя было бы войти даже тайно. Он научился выхватывать свежие надписи из переплетения старых с первого взгляда, настолько хорошо изучил общую схему. Не вглядываясь, не вчитываясь – это могли заметить, – один рассеянный взгляд, и он уносил с собой ребус, который расшифровывал вечером, за чашкой чая, не торопясь, как другие проводят вечера над кроссвордами.

Иногда это получалось, иногда нет, но он не расстраивался, зная, что завтра будет новый урожай сообщений, над которыми можно будет поразмышлять. Единственное, что его раздражало, – обилие ругательств, в которые тоже надо было вчитываться, чтобы не пропустить что-нибудь важное. В период полового созревания жителей Дома он начал сожалеть о своей привычке читать то, чем они украшали стены. Позже ругательства пошли на спад, хотя в районе второй в них по-прежнему можно было захлебнуться.

Сейчас, проходя по коридору, Ральф не смотрел на стены. За полгода они изменились почти до неузнаваемости; он не хотел засорять мозги в первый день возвращения, угадывая все, что прибавилось за шесть месяцев там, где много чего прибавлялось и за день. Только от многочисленных Р ему не удалось убежать, слишком уж они бросались в глаза, выделенные и оторванные от групповых надписей, напоздавших друг на друга в местах наибольшей скученности текстов и рисунков.

Может, это делалось с умыслом. Только кому они адресовали эту надпись, ему или самим себе? И чем это было? Напоминанием или приветствием? Чем-то, о чем они боялись забыть, или чем-то, чего забыть не могли? Он уехал, и в то же время он был здесь. Никогда не встречал Ральф на стенах клички умерших, о них не говорили, их вещи уничтожали или делили между собой. Закрывали дыру – так это называлось. Ночь поминального плача, и за человеком стирались все следы, на стенах в первую очередь. То же происходило с покинувшими пределы Дома. Они были убеждены в неотвратимости конца, ожидавшего их в наружности. С уходящими они поступали, как с покойниками. А он уехал и в то же время остался, впечатанный в стены их руками. Значит, они знали, что он вернется. Только как они могли это знать? Как могли быть уверены в том, в чем сам он не был уверен до последней минуты?

Ральф опустил сумку на пол и сел на диван. Конечно, они знали. *А теперь и я знаю, что они это знали. Уже знаю, хотя специально не смотрел на стены. Они написали так, чтобы бросалось в глаза, чтобы я понял, вернувшись, что меня ждали...*

Еще немного, и я решу, что меня приманили, околдовали заклятием букв. Еще немного, и я представлю, как они танцуют ночью вокруг этих букв, шепча заклинания и рисуя магические круги. Еще немного, и я подумаю, что приехал только потому, что они этого захотели. Я здесь всего несколько минут и уже начал сходиться с ума. Может, это так и нужно здесь, быть слегка помешанным? Может, без этого здесь просто нельзя быть?

Он знал, что отчасти прав. Нельзя уйти и вернуться, когда пожелаешь. Дом мог не принять его. Такое бывало с другими, он видел это не один и не два раза и знал, что не ошибается. Его могло не принять НЕЧТО. Неопишемое словами, не поддающееся логике, НЕЧТО, быв-

шее самим Домом, или его духом, или сутью, он не искал слов и не думал об этом словами. Просто, возвращаясь, он знал, что окончательное решение будет зависеть не от него. Не от него, не от «них» и меньше всего от Акулы. Дом примет его или не примет. И может, именно Дом они пытались задобрить, помечая его стены буквой Р. Приучая к мысли о его возвращении.

– Ладно, – сказал Ральф устало. – Считайте, что я вас поблагодарил. *Интересно, что им от меня нужно? Или это стало традицией приносить в жертву наружности воспитателя перед уходом?*

Он встал, отгоняя глупые мысли. *Если им нужен воспитатель, их здесь хватает и без меня... А сумасшедший воспитатель никому не нужен, ни им, ни мне.* Он подошел к окну, дернул шпингалет и отворил одну створку. Холодный ветер ворвался в комнату, изгоняя затхлый запах нежилого места.

Скомканные облака нависали над самыми окнами, по-вечернему затеняя день. Он вытер пыль с подоконника, сел на него и закурил, расслабляясь. Выкинул окурочек и прислушался. Коридор гудел голосами.

Песни Дома и его шорохи...

Ноги простучали мимо двери, коляски проехали. Ральф пересел на диван и включил радио. Заиграла музыка. Он поднял громкость.

За дверью остановились. Двое. Потом их стало больше. Он слышал приглушенный шепот, но не различал слов. Они пошептались. Топот тяжелых каблучков Вестников Логов удался доносить, и Ральф выключил радио. Он подошел к двери, одной из тех, что, распахиваясь, ударяли по лицам. Но они успели отбежать.

– Ооо... Ооо...

У противоположной стены вежливо раскланивались нелепые ушастые Логи.

– Вы вернулись! Вы слушаете радио...

– Да, – сказал он. – Как видите.

Не переставая кивать, они незаметно передвигались вправо. Быстрее добежать, рассказать, первыми сообщить всем! Сенсация дня стояла перед ними во плоти, а вежливость не позволяла рвануть наперегонки, громкими воплями оповещая Дом о случившемся. Они мучились, полыхая ушами и покусывая губы, взглядами жадно ощупывая Ральфа. Кто первым заметит что-то интересное, станет героем дня! Те, что ушли, узнали первыми и первыми расскажут, но те, кто остался, первыми увидели, и они старались выжать из этого жалкого преимущества все, что возможно, раз уж первенство сообщения у них было отнято. Рассказы очевидцев должны быть красочными и волнующими, и Ральф почти физически ощущал, как из него добывают эти краски и волнительные подробности, проникая под кожу жадными щупальцами глаз.

– Свободны, – сказал он им.

Логи не шелохнулись, только уставились еще более страстно.

– Я иду в третью, – сжалился он. Ахнув, Логи умчались прочь, наступая друг другу на ноги, сверкая черной кожей жилеток и кнопками застежек.

Ральф шел медленно, давая гонцам возможность осуществить свою миссию. Он смотрел на стены.

Территория второй: безголовые женские фигуры, крутейшие бедра, круглейшие ягоды, тыквенные груди... Между ними змеились высказывания публики о мастерстве художников, стихи на аналогичные темы и ругательства. «Хвост приложил Кр. Соломон», «Берегись! Ты знаешь, про что я!», «Заплыв отменен вв. нестандарт. одежд.», «Еще раз так сделал. Сделаю еще».

Крысы стояли у распахнутых дверей класса, синхронно хихикая и шаркая ногами, словно управляемые одной нетрезвой рукой.

– Здравствуйте...

Только что из мусорных баков. Серая шерсть в лишаих, прозрачно подрагивающие усы, запахи помойки, голые хвосты с налипшим пометом.

– С приездом. Как поживаете?

Ральф прошел мимо.

Рисунки на лбах, на щеках и на подбородках, очки всех форм и размеров. Крысы боялись света и прятали от него глаза.

«С возвращением!» – хихикнула стена, украсив приветствие заборчиком из восьми восклицательных знаков. *Когда только успели?* Он миновал вторую. Зону ягодиц и двусмысленных шуток. По стене поплыли красные треугольники, быки и антилопы. Здесь писали мало и мелко. Рисунки Леопарда охранялись от посягательств. Ральф не стал вглядываться. Зеленая стрелка указывала прямо: «Тропа друидов. Почву перед собой ошупывай шестом. Ж. Т. по пятницам каждое полнолуние».

Что такое Ж. Т.? Жертвоприношения?

Дверной проем класса третьей был пуст. Ральф вошел – и под ногами зашуршали семена. Семена и жухлые листья. Коробочки, с треском лопавшиеся под каблуками и рассыпавшие белый порошок. В сумраке зеленых куц за столами сидели Птицы и улыбались. Окна затеняли мясистые листья и стебли всевозможных растений. Пахло влажной землей.

Слон – огромный и краснощекий – качал головой в окружении горшков с фиалками. Фиолетовый спектр. Красавица над пожелтевшей геранью, Бабочка под лимонным деревцем. Стервятник сидел на стремянке – парил над классом, вознесенный почти к самому потолку. Компанию ему составляли два горшка с кактусами. Стол Дракона, украшенный только тарелочкой с проросшей пшеницей, выглядел убого. Птицы улыбались. *Щебет в ветвях...* Не было ни страха, ни враждебности. Они, казалось, были искренне рады его возвращению.

Ральф сел за учительский стол. Толстый белесый стебель шмякнулся перед ним, как сорвавшийся с потолка червяк.

Стервятник слез со стремянки, проковылял к столу и, пробормотав «Прошу прощения», проглотил его.

– Неоднократно повторялось: обрезайте подгнившее!

Он обмахнул стол носовым платком.

– Спасибо, – сказал Ральф.

Стервятник лучезарно улыбнулся.

Перед Ральфом появилась чашка с кофе. Пока он удивленно ее разглядывал, его поверхность подернулась ряской.

– Видите? – грустно спросил Стервятник. – За всем не уследишь. Я огорчен, поверьте.

Ральф попытался собраться с мыслями.

– Пока меня не было...

– Мы все очень скучали, – хором сообщили Птицы.

Стервятник посмотрел на них с гордостью.

– А в четвертую перелетел Фазан, – сообщил Слон, ковыряя в носу. – Почему-то не к нам, а к ним. Почему-то...

– Дела четвертой нас не касаются, – перебил его Дракон. – Ты бы помолчал!

Ангел заломил руки:

– Дом без вас не Дом, уважаемый Ральф. Я это всем твержу, постоянно! Спросите, спросите их...

– Счастлив слышать, – сказал Ральф. – Что еще?

– Песня! – радостно каркнул Ангел. – В вашу честь! Мы только вчера закончили ее разучивать. Разрешите исполнить?

Вчера закончили разучивать? Песню?

– Не разрешаю, – сказал Ральф. – Обойдемся без песен.

Птицы разочарованно вздохнули. Ангел в приступе гнева впился зубами в собственную руку.

– Простите?

В дверях стоял маленький лысый человек в синем костюме и, близоруко щурясь, рассматривал Ральфа.

Он встал.

– Не имею чести, – произнес человечек и шагнул ему навстречу.

– Я воспитатель, – объяснил Ральф. – Вернулся из отпуска, зашел повидать ребят. Но у вас урок. Я не буду мешать.

– Прошу вас, – засуетился учитель. – Общайтесь. Я зайду позже.

– Мы уже пообщались. Не хотелось бы мешать уроку. Извините.

Ральф обошел лысого и выбрался в коридор.

Учитель прошмыгнул следом.

– Вы ведь *их* воспитатель, да? – пухлая ладошка ухватила Ральфа за рукав куртки. – А вам не кажется, – глаза учителя округлились, голос понизился до шепота, – не кажется, что они немножко странные? Этот запах... и это... засилье флоры. Вы не находите? Количество... И запах...

– Нахожу, – любезно сказал Ральф, снимая с рукава пальцы учителя. – Но вам пора.

– Да, – учитель горестно покосился на дверь, – пора. Однако я определенно испытываю дискомфорт. Поймите меня правильно, это тяжело.

Сквозь приоткрытую дверь сладко тянуло болотным духом.

– Привыкнете, – пообещал Ральф. – Со временем.

Понурившись, учитель исчез за дверью, и в нее тут же просочился Стервятник.

– Поехали, – сказал ему Ральф. – Все, что произошло. И покороче.

Стервятник прислонился к стене:

– У *меня* в стае никаких перемен, – отчитался он. – А в чужие дела я не лезу. Не так воспитан.

– Никто тебя и не просит в них лезть.

Стервятник улыбнулся, обнажив красные десны.

– Самая крупная новость: с нами больше нет Помпея. Скоропостижно скончался от колотой раны. Можно назвать это самоубийством, а можно и не называть. Я называю так.

– А остальные?

– Остальные могут со мной не согласиться.

Ральф поразмыслил над сказанным.

– То есть это не самоубийство?

Стервятник задумчиво покачал головой:

– Вопрос терминологии. Когда кто-то долго роет яму, потом тщательно устанавливает на дне острые колья и, наконец, с радостным воплем туда прыгает, я называю это самоубийством. Прочие могут придерживаться иного мнения.

– Ладно, – вздохнул Ральф. – Дальше?

– Дальше в основном мелочи. Не соображу, какая из них может вас заинтересовать. Ну, может, та, что из первой в четвертую перевелся Фазан. Крестник Сфинкса. Он теперь ваш. А Лорда увезли в наружность. Четвертая в трауре, – Стервятник запнулся и поморщился, словно собственный тон его вдруг покорибил.

– Это все?

– Ну, – Стервятник вздохнул, – если говорить о событиях более давних, то умер Волк. Еще летом, вскоре после вашего отъезда.

– От чего?

– А вот этого никто не знает.

Перед ними вдруг возникла тощая белобрысая фигура с выпученными глазами.

– Извините, – простонала она, протискиваясь к двери.

– Опаздываешь! – сварливо заорал Стервятник. – Нет на вас управы, Логово семя!

Конь замычал, трясая волосами, и скрылся в дверях. Стервятник плюнул ему вслед разжеванным листиком лимона.

– Подлец, – сказал он. – Сорняк!

Лицо его вдруг исказилось, он схватился за колено и зашипел от боли.

Ральф внимательно наблюдал.

– Значит, больше ничего?

Стервятник смотрел на него снизу, равнодушно и бессмысленно. Он ушел в свою боль и закрылся в ней, давая понять, что разговор закончен.

– Ладно, иди. Если плохо себя чувствуешь.

Никто на свете не смог бы сказать с уверенностью, притворяется Стервятник или ему на самом деле плохо. Опустившись на пол, обнимая ногу, сгорбившись над ней, как над больным ребенком, он тихо раскачивался, напевая сквозь зубы. Ральф подождал, раздумывая, не следует ли предложить свою помощь. Потом пожал плечами и пошел дальше по коридору.

Коридор был пуст. За дверями классов монотонно гудели учительские голоса. Где-то журчала вода.

Птицы... Надо было все же послушать песню. Которую они якобы только что закончили разучивать. Теперь не узнать, была она на самом деле или ее придумал Ангел. Хотя, могло стать, что под вдохновенное дирижирование окольцованных рук Стервятника они закрыли бы глаза, открыли рты, беззвучное пение длилось бы и длилось, довело бы их до экстаза... а он бы не знал, как на него реагировать.

Ральф остановился, глядя на стену.

По ней тянулась цепочка неряшливых следов черного цвета. Он шла снизу вверх и переходила на потолок, откуда спускалась по противоположной стене. Кто-то долго трудился, создавая след «человека-мухи». А может, кто-то научился ходить по потолку.

Фазан в четвертой. Крестник Сфинкса. Это Ральфу ничего не говорило. Фазанов он знал плохо. Волк и Помпей. На Волке у Стервятника заболела нога. Помпей... Прыгнул в яму, которую вырыл сам... Допустил ошибку? Быть может, нарушил Закон? Сплошные загадки. Но большего Ральф требовать не мог. Стервятник не был стукачом. Он сообщал лишь то, о чем Ральф узнал бы и так. От того же Акулы.

Но сказанное Стервятником было важнее. В отличие от Акулы он знал, о чем говорил, и давал шанс разгадать свои слова.

Это стало их тайной игрой, в которой Стервятник оказался его союзником, единственным на весь Дом. Все, что смогла сделать Большая Птица в благодарность за ночь, проведенную в комнате Ральфа, – ночь двухлетней давности, прелюдией к которой стала попытка Стервятника изгрызть лазаретные стены и съесть его обитателей. Она должна была закончиться в сумасшедшем доме, но закончилась в комнате Ральфа. В память о ней Ральфу осталось окровавленное полотенце, которым он порвал Стервятнику рот, затыкая его вой. Он был слишком занят, чтобы думать о чем-то, кроме сохранности своих рук, но когда в отворенные окна Птице ответила третья, сообразил, что это поминальный плач. Полотенце и покусанная обивка дивана. Следы зубов Большой Птицы. Когда он заплакал, Ральф его отпустил, и остаток ночи Стервятник рыдал, уткнувшись горбатым носом в диванную подушку, а Ральф смотрел на него и ждал. Молча, не делая попыток успокоить.

На рассвете Стервятник встал, опухший и почерневший, дохромал до душа и простоял под ним до подъемного звонка. А потом ушел. Утро Ральф провел в лазарете с Птицами, разбирая разгром, учиненный Стервятником накануне. Вожак третьей не показывался три дня, а на четвертый явился в столовую в трауре и с тех пор не снимал его. Немногие его качества

могли вызвать восхищение, но он никогда не забывал тех, кому был чем-то обязан. Так началась их игра «Угадай, что я имел в виду, если ты такой умный» – и Ральф знал, что в ней он всегда получит подсказку. Пусть непонятную, чем-то похожую на загадки стен, но все-таки подсказку. Кроме того, Стервятник был краток и в отличие от стен не изъяснялся стихами.

Он назвал Помпея самоубийцей. Помпей вырыл себе яму и прыгнул в нее, получив в результате колотую рану. Не очень похоже на самоубийство. Слишком аллегорично. Еще не стихи, но близко к тому.

С Лордом придется разбираться отдельно. С ним и с его матерью. Которая никогда не взяла бы домой своего слишком взрослого сына. Значит, не домой, а куда-то еще. Интересно, куда?

Самое неприятное, конечно, Волк. Когда речь зашла о его смерти, Птица не дал даже самой туманной подсказки. И именно тогда у него разболелась нога. Случайно? Насколько Ральф знал Стервятника, у того ничего не происходило случайно. А вытерпеть внезапную боль Птица был способен, не моргнув глазом. Волк был из тех, кто менял реальность... Одним из самых сильных. Претендентом. Может, в этом разгадка?

Тусклые лампы выжелтили коридор. Навстречу ковылял Шериф – пестун и запугиватель второй. Та же Крыса, только постарше и покрупнее.

– Ух, ты! – Шериф подмигнул из-под козырька бейсболки и расплылся в улыбке. – Привет, братишка! Какого хрена ты вернулся в это болото?

Ральф на ходу изобразил удивление и радость от встречи с коллегой и задел ладонью его ладонь:

– Соскучился по тебе, наверное.

Шериф разразился всхлипами хохота и исчез в дверях второй, не переставая всхрюкивать. *Толстый, как кабель, хвост втянулся за ним, задевая расступившихся Крыс...* Крысы хихикали, раскачивались и потирали ладони.

На двери своей комнаты Ральф обнаружил записку, прищипленную кнопкой: «Я обижен. Мог бы и зайти». Подписи не было, но почерк Акулы он узнал сразу. Сковырнув кнопку, Ральф сунул записку в карман и пошел к директору.

Акула ждал его в нерабочей части кабинета, утопая в низеньком кресле с обивкой в сине-желтый цветочек. Колени выше груди, нос уткнулся в экран телевизора. Покосившись на Ральфа пятнистым глазом, он ткнул в соседнее кресло:

– С приездом.

Ральф сел, сразу провалившись по грудь. Вид Акулы красноречиво свидетельствовал о скором окончании рабочего дня.

– Я сейчас отчаливаю, – подтвердил Акула, всосал прозрачную жидкость из стакана, игнорируя соломинку, и уставился на Ральфа. – Незачем здесь сидеть до конца уроков. В этом нет ни малейшего смысла. Вот ты видишь в этом смысл? Я нет. И никто не видит. Но почему-то так принято: я должен тут торчать до полного изнеможения, хотя абсолютно никому не нужен. Никто не постучит, не зайдет, ни о чем не спросит. Никогда. Но ты сиди. В этом и заключаются обязанности директора. Я торчу здесь, как пень, с восьми до четырех и не могу даже снять галстук, потому что мало ли что вдруг приключится! Я должен быть готов. Если кто-то думает, что мне легко, он заблуждается. Мне совсем не легко. С приездом, дорогой коллега. Ты с годами не меняешься. Моложавый.

Ральф удивился:

– Пять месяцев уже считаются годами?

– Считаются, – подтвердил Акула. – В тяжелых боевых условиях месяц идет за год. В общей сложности ты прогулял пять лет и, конечно, можешь считать себя уволенным. Я тебя не упрекаю. Просто подвожу итоги.

– Спасибо, – Ральф смотрел на экран.

Акула не любил, когда его игнорировали. Он потянулся за пультом. Экран погас, и Ральф развернул кресло в сторону директора. Директорский палец качался на уровне переносицы:

– Какой тебе полагался отпуск? Двухмесячный. Двух, а не пяти. Ты уволен. И уже давно. Но, – палец совершил вращательное движение, – я тебя прощаю. Почему? Потому что я хорошо к тебе отношусь. Я понимаю, почему ты слинял. А почему я это понимаю? Потому что я чуткий, понимающий человек...

Ральф расслабился и вытянул ноги. Слушать безумные речи Акулы входило в обязанности воспитателей, и для каждого давно стало делом привычки. Он думал о Волке. О Помпее. О «яме». Чем же была на самом деле эта «яма», которую, по утверждению Стервятника, Помпей вырыл себе сам? Что имела в виду Большая Птица? О Помпее думалось легче, чем о Волке. О Волке думать не хотелось.

– А кто поймет меня? Никто. Я одинокий, всеми покинутый человек. Мой подчиненный возвращается после полугодового отсутствия – и даже не заходит поздороваться. Я пишу ему записки! «Приходи!» – пишу я. И только тогда он приходит. Каким словом все это обозначить? Только одним. Дерьмо! Все вокруг – это самое дерьмо.

– Извини, – вставил Ральф. – Я бы и без записки зашел.

– Когда? – пятнистые глаза Акулы негодуя вспыхнули. – Завтра? Послезавтра? Я требую уважительного отношения. Или убирайтесь все к чертям. Я здесь хозяин! Так или не так? – Директор замолчал, тяжело вздыхая в стакан.

Ральф украдкой посмотрел на часы. До конца последнего урока оставалось меньше двадцати минут, а ему хотелось успеть в шестую до того, как Псы разбегутся по всему Дому. Значит, сразу после ухода учителя.

– Ты, – Акула поставил стакан на пол и понуро обвис в кресле, – самый стоящий воспитатель в этой дыре... Все бросил и сбежал на Большую Землю. Оставил нас на порезание и сбежал.

– Никто никого не собирается резать.

– Это ты так говоришь, – скрипучий голос Акулы будто засыпал уши мягким песком. – Только ты так говоришь. – Он понюхал свою ладонь и нахмурился.

Ральф терпеливо ждал. Директор не был пьян. Он пребывал в состоянии, которое некорректные воспитатели называли «месячными». Сейчас с ним не имело смысла спорить.

– Я очень болен, – сообщил вдруг Акула, пристально глядя Ральфу в глаза. – Никто не верит, но скоро все убедятся.

Ральф изобразил озабоченность:

– Что за болезнь?

– Рак, – мрачно сказал Акула. – Так я полагаю.

– Надо провериться. Это серьезно.

– Не надо. Лучше оставаться в неведении. Если меня убьют, я избежну долгой и мучительной смерти. Это утешает. Но совсем чуть-чуть.

– Убить тоже можно по-разному.

Акула вздрогнул.

– Да уж. А еще можно наговорить больному человеку гадостей вместо того, чтобы попытаться его утешить.

Акула посидел с видом умирающего, потом взглянул на часы и нервно закопошился.

– Ох... Сегодня ведь футбол. Черт! Совсем из головы вон! – он вскочил и оглядел кабинет. – Все выключено. Остался свет. И дверь.

Пошарил по карманам.

– Пообедаешь со мной?

– Нет. Очень устал с дороги. Пожалуй, лягу спать.

Взяв протянутые ему ключи, Ральф погасил свет. Акула любовался им с порога.

– Хорошо, что ты вернулся. Завтра с утра начнем вводить в курс дел. Этот пятимесячный отпуск тебе еще выйдет боком.

– Не сомневаюсь.

Заперев дверь, Ральф передал связку директору. Тот начал ей побрякивать, выискивая ключ от своей спальни.

– Почему Лорда забрала мать? – спросил Ральф.

– Уже знаешь, – восхитился Акула. – Как всегда. Только приехал – а уже все знаешь. Я всегда говорил, что ты не совсем нормальный. В хорошем смысле, конечно.

– Почему она его забрала?

Акула наконец нашел ключ и тщательно отделил его от связки, чтобы не перепутать с другими.

– Потеряла доверие. Мы плохо приглядывали за ее парнем. Так она выразилась. Что ему вреден здешний климат. Красивая женщина. С ней трудно спорить. Я и не пытался.

– Она его домой взяла?

– Не знаю. Это не мое дело. Я не спрашивал.

– Она могла поменять школу... Если ее не устраивала здешняя.

Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк на ушедшего на пенсию и потерявшего форму моряка.

– Расслабился, – констатировал он. – Обленился! А я-то ставлю тебя в пример молодым.

Не переставая ворчать, он поднялся по лестнице. Ральф постоял на площадке, глядя ему вслед, и вернулся в коридор.

В шестой никогда не бывало тихо. Даже когда все молчали, ухо улавливало еле слышное гудение, похожее на работу спрятанного в стене мотора. *Тот самый невидимый пчелиный рой...*

Он вошел, и голоса смолкли. Псы загасили плевками сигареты в ладонях, попадали с подоконников, откатились к стульям и попробовали включить тишину. Тогда он услышал застенный гул: шепот их мыслей, не выключавшийся никогда, – их было слишком много. Песню шестой комнаты. Они были ярко одеты – не как Крысы, но близко к тому – цепляли глаз всплесками алых рубашек и изумрудных свитеров, но стены класса сочились тускло-серым пластилином, замыкая их в непроницаемый прямоугольник, не пропускавший воздуха, и окна казались приклеенными к этой серой массе картинками.

Закрыв за собой дверь, он сразу почувствовал, что в этом вакууме трудно дышать и двигаться, что потолок нависает слишком низко, а стены смыкаются, сливаясь с полом и потолком, и давят резиновой серостью... *в которой можно увязнуть, как насекомое, и когда войдет кто-нибудь другой, ты уже будешь ее частью, росписью, неразличимой среди других каракулей, мертвым экспонатом шестой.*

– Я хочу поговорить с новым вожаком, – сказал он. Подождал, пока стихнет кашель подавившихся дымом и добавил:

– Или с тем, кто себя им считает.

Они завозились, опуская глаза. Все в ошейниках – настоящих и самодельных, кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером. Он понял прежде, чем услышал ответ. Вожак отсутствует. Только вожак в шестой был избавлен от необходимости носить знак своей принадлежности к стае, только вожак мог ходить с голой шеей. Конечно, ошейник мог быть маскировкой – прятать вожака, не желавшего себя выставить. Но никто из Псов даже мимо-

летно не посмотрел на другого, ни на ком не сконцентрировалось общее внимание. Человека, который занял место покойного Помпея, среди них не было.

Они вжимали головы в плечи и рассматривали свои ладони, словно стыдясь чего-то. *Того, что среди них не нашлось никого, кто мог бы стать главным? Своей обезглавленности? Своей потери?*

– Вожака нет, – сказал кто-то из задних рядов. – Еще не выбрали.

– Когда умер Помпей? – спросил Ральф.

– Месяц назад, – ответил длиннолицый очкарик Лавр. – Чуть меньше месяца.

– И до сих пор никого не выбрали?

Псы пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую, но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать:

Желтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень пола, разрисованного кругами, крик... Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь... и тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым, обесцвечивая их и стирая. Он увидел достаточно, чтобы понять: что бы ни случилось с Помпеем, они при этом присутствовали всей стаей, и воспоминание об увиденном, обсосанное до горечи на языках, не давало им покоя. В нем таились их боль и страх перед кем-то, о ком он пока не имел понятия. Они были слишком закрыты, слишком сопротивлялись его попыткам понять что-то еще.

Стаи строились по принципу лестниц. Каждая ступенька – живая душа. Ломалась самая верхняя – первой становилась предыдущая. На месте обезглавленной пирамиды тут же вырастала новая верхушка. Так было всегда и у всех, кроме Фазанов. В каждой стае был не только свой первый, но и свой второй. Даже у Птиц, хотя Стервятника отделяло от стаи огромное расстояние – не меньше, чем в семнадцать пустых перекладин – имелся Дракон, готовый, если с вожаком что-то случится, занять его место. Порядок нарушался только в случае свержения вожака кем-то из стоявших много ниже. Но тогда этот нижний занимал верхнее место. То, что в шестой не случилось ни того, ни другого, указывало на третий вариант. Явно не имевший ничего общего ни с первыми двумя, ни с чем-либо из того, что могло прийти в голову Ральфу. *Интересно, при чем здесь спортзал?*

– Странно, – сказал он. И задумался.

Он понял, как надолго, только увидев, что за окнами стемнело, а стая изнемогает от его присутствия. Самые нервные кусали ногти и корчили гримасы, колясники тихо копошились, сблизив землистые лица, гудение в стенах давало сбои. Все вокруг стало серым. Шестая увязла в своей защите, и все они стали похожи на утопающих – или давно утонувших – в грязном аквариуме, не чищенном миллион лет.

Ральф вышел, ничего не сказав. Облегченный стон шестой слился со стуком двери, которая тут же снова приоткрылась, и в щель просунулось бледное лицо Лога Москита, отслеживавшего его маршрут.

Между классом и спальнями шестой Ральф шел медленно, изучая стены. Сдирая, как шелуху, свежие надписи, обнажая спрятавшиеся под ними старые, полустертые, еле заметные глазу. Собачьи головы в ошейниках. Призывы «членам судейской коллегии» собраться во дворе субботним вечером. Он прищурился. *Вот оно.* Кошка с человеческой головой, подчеркнутая красным. Черный треугольник с пробитой в нем дыркой. Спираль с глазом внутри, испещренная зубринами. Все старое. Не меньше чем месячной давности. Он посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Значения этих символов он читал, как собственную кличку. Кошка – Сфинкс. Треугольник – Черный. Спираль с глазом – Слепой. Все три знака использовались как мишени. Случайности тут быть не могло.

Слепой сидел на корточках под его дверью, выводя пальцем на паркете невидимые круги. Длинные черные волосы падали на лицо. Из дырок на джинсах торчали колени. На звук шагов он поднял голову – тощий, с бесцветными глазами, безликий и безвозрастный, как бродяга, не помнящий даты своего рождения. Вставая, стремительно помолодел, а навстречу Ральфу выпрямился совсем мальчишкой.

В сумраке коридора любой, кроме Ральфа, счел бы это обманом зрения, наваждением, которое рассеялось, стоило к нему приблизиться.

– Здравствуй, – сказал Ральф, открывая дверь.

– Здравствуйте.

Ральф пропустил его вперед и вошел следом.

Слепой замер в дверях. Ральф ощутил невольное желание взять его за руку и подвести к стулу или к дивану. *Слепой, беспомощный на чужой территории, свитер велик, рукава сползают до самых пальцев, и эти дырки на коленях...* Он прикрыл глаза, стряхивая навязанный ему образ. *Идиот! Перед тобой хозяин Дома!* Ральф подошел к окну, бросив через плечо:

– Садись.

В ту же секунду он обернулся, сам не зная, что ожидает увидеть: поиск, беспомощность, нашаривание в пустоте осязаемых предметов или, наоборот, уверенность, стремительность и быстроту, хотя Ральф не удивился бы, если бы Слепой не двинулся с места или, запинаясь, попросил его о помощи. Но Слепой сел там, где стоял – у порога, скрестив ноги и спрятав ладони под мышки.

– Так мне тебя не видно, – сказал Ральф, вороша разложенные на диване вещи в поисках сигарет: – Только пробор. Сколько волос попадает к тебе в тарелку с каждым обедом?

– Я не считал, – отозвался Слепой. – Это важно?

– Это неопратно, – Ральф нашел сигареты, закурил, и сел на диван.

Курил он молча, давая Слепому время освоиться. Или понервничать. Слепой сидел неподвижно, и видно было, что сидеть он так может до бесконечности. *Давай поиграем в эту игру...* Единственное, что мешало Ральфу – сигарета, в остальном он окаменел настолько же, насколько окаменел Слепой. Только пепел, нараставший на кончике сигареты, мешал ему исчезнуть окончательно. Слепому не мешал никакой пепел. Болотного цвета свитер, сквозь вязку которого просвечивала кожа, обернулся высохшей чешуей, глаза прикрыли синеватые веки, Слепой исчез, и Ральфу почудилось, что он сидит перед застывшей рептилией, которая, впрочем, вполне могла оказаться сучком причудливой формы или даже тенью от сучка. Чем бы это ни было, оставаться в неподвижности оно умело очень долго. У Ральфа никогда не хватало терпения выяснить насколько.

– Расскажи, что случилось с Волком. И как это произошло.

Слепой, немедленно восстановил облик мальчишки и с готовностью подался вперед:

– Он не проснулся. Никто не знает почему.

Ральф посмотрел на свою сигарету, вернее, на фильтр, чудом удерживавший столбик пепла.

– И это все? Еще раз, пожалуйста. Подробнее.

Слепой покачал головой.

– Мы спали, – сказал он. – Утром все проснулись, а он – нет. Накануне он вел себя, как обычно, и ни на что не жаловался.

Ральф попробовал представить.

Слепой не врал, но неправильность в его словах была сродни лжи. Ральф достаточно хорошо знал о связи, существовавшей между ними, – это было то, что делало их стаями, то, что пригнало третью к дверям лазарета, когда умер Тень. *Почему именно в тот вечер и в тот час они пришли туда все, даже тупоголовые Логи? Было ли это похоже на звон колокола, слышимый только им?* Он видел такое не раз: скорчившиеся фигуры у стен Могильника не курили

и не разговаривали, просто сидели неподвижно. Это не было прощанием, скорее, участием в том, что происходило там, куда они не могли попасть. Могли ли они, чующие смерть сквозь стены, не услышать ее в своей спальне? Не проснуться, когда умирал один из них?

– В двух шагах от вас умирал человек, и вы ничего не почувствовали? Вас ничто не встревожило?

– Там не было и двух шагов, – возразил Слепой. – И мы бы не спали, если бы что-то почувствовали.

– Понятно, – Ральф встал. – Как ты думаешь, зачем я позвал тебя? Любой из твоей группы мог бы рассказать мне то же самое. Если собираешься продолжать в том же духе, дверь у тебя за спиной.

Слепой сгорбился сильнее:

– Как я должен говорить? В каком духе? Что вы хотите услышать?

– Я хочу услышать, что ты, вожак, можешь сказать о члене твоей стаи, который однажды не проснулся. Если я не ошибаюсь, именно ты отвечаешь за то, чтобы они просыпались по утрам.

– Сильно сказано, – прошептал Слепой. – Я не могу отвечать за все, что с ними может произойти.

– Знать, отчего это произошло, ты тоже не обязан?

Слепой промолчал. Ральф встал с дивана. Стоило ему приблизиться, как в позе Слепого появилась обманчивая расслабленность. *Знакомая реакция. Милые детки Дома... Именно так многие из них реагируют на приближение опасности. И именно тогда с ними надо быть настороже.* Слепой расслабился, но глаза – прозрачные лужицы, удерживаемые ресницами на бледной коже – замерзли, превратившись в лед. Стылый, змеиный взгляд. Слепой не умел его прятать.

– Если хочешь выглядеть безобидно, носи очки, – неожиданно для себя посоветовал Ральф.

– Это нервирует стаю, – с сожалением ответил Слепой. – Особенно Сфинкса. Не могу с ним не считаться.

– А что он думает о смерти Волка?

– Он старается о ней не думать.

– Если я не ошибаюсь, он был очень привязан к нему?

Слепой неприятно засмеялся:

– Как вы странно говорите... Привязан. Чем-то вроде стального троса, толщиной с меня.

– Куда же этот трос делся в ту ночь?

– Не знаю. И не собираюсь об этом спрашивать.

– У тебя крепкий сон? Ты не проснешься, если рядом кто-то застонет?

По лицу Слепого скользнула злость – и тут же исчезла.

– Я проснусь, даже если рядом пискнет мышь. Волк не стонал. Он вообще не издавал никаких звуков. Он сам не успел понять...

– Ах, вот как! – выпрямился Ральф. – Интересно ты заговорил. Откуда тебе знать, что он успел и чего не успел? Ведь, когда это произошло, вы всей стаей дружно спали.

– Я знаю. Он тоже спал. Иначе его лицо не было бы таким спокойным. Его страх разбудил бы нас. Это, наверное, была самая спокойная смерть за всю историю Дома.

– Если бы на месте Волка был Сфинкс, а я рассказал бы тебе о его смерти теми же словами, какими ты рассказал мне сейчас о Волке, ты удовлетворился бы моим объяснением?

Слепой чуть помедлил с ответом.

– Не знаю. Вы слишком многого от меня хотите.

– Ты рад, что он умер?

Этого не следовало говорить – Ральф понял это сразу, но было уже поздно.

– А вам не кажется... – пару секунд Ральфу казалось только, что сейчас в него плюнут ядом. – Вам не кажется, что некоторые мои чувства вас не касаются? Что я чувствую, когда умирает кто-то из моей стаи, – это мое дело. Вам так не кажется?

Слепой вдруг закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, что было слышно только ему, и резко сменил тон:

– Простите. Я не хотел вас обидеть. Если вы спрашиваете, значит вам это нужно. – И заставляя себя – Ральф уловил эту заданность, принуждение, словно Слепой вдруг решил перед ним раздеться, – добавил:

– Я не был рад. Но никого другого я бы на него не обменял. Ни одного из них. Если вас *это* интересует. Если, говоря о моей радости, вы это имели в виду. Я непричастен к его смерти, если вы имели в виду *это*. А если вы имели в виду мою к нему нелюбовь – то это правда. Я не любил его. Как и он меня. Иногда мне и в самом деле казалось, что я бы обрадовался, если...

– Хватит! – перебил его Ральф. – Извини. Я был нетактичен.

Слепой обнимал себя за плечи. Глядя на него, Ральф не мог отделаться от ощущения, что видит заживо содранную кожу, распоротую оболочку защитного панциря. Чем бы это ни было на самом деле, Слепой сотворил это с собой сам.

– Ладно, – сказал Ральф. – Твоя откровенность хуже молчания. Если я спрошу тебя о Помпее, ты, конечно, скажешь, что не вправе говорить о делах шестой?

Слепой кивнул:

– Так и есть.

– И отчего умер Помпей, тоже не имеешь понятия.

– Имею. Но сказать не могу.

Ральф вздохнул:

– Хорошо. Как ты думаешь, зачем я вызываю к себе вожаков, когда хочу что-то выяснить? Чтобы послушать, как они отделяются от меня общими фразами? Ты свободен. Можешь идти.

Слепой встал:

– Вы забыли спросить еще об одном человеке.

– Я не забыл. Просто мне не нравится наш разговор. И я не хочу его продолжать. Уходи.

Слепой не ушел. На его лице появилось выражение озабоченности, как будто ему предстояло решить непосильную задачу, с которой он не надеялся справиться.

«Вот, – с облегчением подумал Ральф. – Это будет просьба. Сейчас я узнаю, ради чего Слепой способен вылезти из собственной шкуры».

– О чем ты хочешь попросить?

– О Лорде. Узнайте о нем что-нибудь. Уже месяц, как его забрали, и мы ничего не знаем. Где он и как ему живется.

Ральф молчал, скрывая недоумение. Замазанные клички на стенах, розданные вещи, поминальный плач – это он видел и слышал, об этом он знал. Покинувшие Дом были частью этого знания, одной из тех деталей, в которых он не сомневался. Просьба Слепого – о том, кто должен был перестать для них существовать с той минуты, как его увезли из Дома, – отметала это знание.

Слепой терпеливо ждал. Сигарета обожгла Ральфу пальцы.

– Ты свободен, – повторил он. – Можешь идти.

– Как насчет Лорда?

– Я сказал, что ты можешь идти.

Лицо Слепого застыло. Он отворил дверь и исчез. Ральф не услышал ничего. Слепой ходил бесшумно.

Ральф стоял, глядя на застекленное окошко в двери. Буква «Р», перевернутая задом наперед, почти невидимая, просачивалась в комнату, запугивая и предупреждая, напоминая о том, что он всего лишь часть Дома.

Может, для этого я и вернулся. Чтобы узнать об одном из них, оказавшемся там, куда им нет доступа. Чтобы принести им ответ... Они ждали меня...

Табаки. День первый

*И умом не Сократ и лицом не Парис, —
Отзывался о нем Балабон. —
Но зато не боится он Снарков и Крыс,
Крепок волей и духом силен.*

Льюис Кэрролл. Охота на Снарка

Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесь и сейчас – больше любого где-то потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал, люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бобах, на чечевице и по «Книге Перемен». В фильмах и в книгах люблю жаркие страны, а в жизни – дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего.

И весенний, и летний, и осенний. Любой и всегда. Люблю по сто раз перечитывать прочитанное. Люблю звуки гармошки, когда играю я сам. Люблю, когда много карманов, когда одежда такая заношенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что можно снять. Люблю защитные обереги, такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало. Люблю намазать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее отдирать. Люблю солнечные очки. Маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицератопсов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы-морковки, потайные ходы, схемы эвакуации из здания при пожарной тревоге; люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет, люблю иногда завопить так, чтоб всем стало плохо, люблю во сне закинуть на кого-нибудь, лежащего рядом, руку или ногу, люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду, хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях, люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно, люблю быть горячо любимым и последней надеждой окружающих, люблю свои руки – они красивые, – люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком, люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и подсоединять, а потом удивляться, что оно работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи, люблю лечить друзей от икоты испугом. Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно.

А не люблю я часы.

Любые.

По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду.

Сегодня в Дом вернулся Ральф. Человек-загадка, своего рода реликт. Единственный свидетель былых эпох среди воспитателей. Не сказать, чтобы мы по нему ужасно скучали, но все-таки с ним как-то интереснее, чем без него. Прибывшие в Дом в последние три года трогательно его боятся, что создает неповторимую атмосферу, когда он ходит по коридорам. Атмосферу трепета. Да чего там мелочиться. Это наш Дарт Вейдер. Весь в черном, страшный и непостижимый, только без хрипучего шлема. Не успел он вернуться, как жить стало веселее.

Новость принес, конечно, Лэри. К последнему уроку. Мы не успели ничего обсудить – урок как раз начался, – пришлось тихо переваривать ее до звонка. Зато потом началось. Каждые пять минут в класс заскакивал кто-то с очередным донесением о том, куда переместился Р Первый. Я предложил повесить на стену карту Дома и отмечать его маршрут флажками, но никто не вызвался помочь в составлении карты, а чертить ее в одиночку – совсем не просто, уж я-то знаю. Жаль, конечно. Ральфа бы такое внимание к себе приятно поразило. Я был уверен, что в связи со своим возвращением он пребывает в депрессии, так что небольшое подбадривание пошло бы ему на пользу.

Возвращение это было чем-то само собой разумеющимся, но разумелось оно уже так давно, что все успели к этому привыкнуть, и когда Ральф все-таки вернулся, испытали легкое потрясение. Для нас возвращение Ральфа означало, что теперь есть, кому навести справки о Лорде. Так что, получалось, он вернулся как нельзя более кстати.

– Ага, – сказал по этому поводу Сфинкс. Это было такое многозначительное «ага», что я страшно пожалел, что не сам его произнес.

Чуть погода стало ясно, что одним «ага» тут не обойтись. Что надо как-то донести это «ага» до Ральфа.

Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающе. Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто. Сфинкс говорит, что идти должен Слепой, и с этим соглашаются все, кроме Слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в Слепом. В его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая, оказывается, не в состоянии этого оценить. На худой конец сгодился бы и Толстый – бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего, – но они не хотят и Толстого. А ведь какой был бы тонкий ход! Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете.

Большинством голосов мы избираем Слепого.

Между тем возвращается Лэри с последними новостями. О том, что Р Первый посетил шестую. Что он и сейчас там, и в шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех Псов скопом?

Еду проверить.

В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей шестой пробка из подслушивающих. Облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня чуть не сшибают с Мустанга галопирующие от шестой Лэри и Конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцокивают с залиvistым ржанием, даже не заметив, что споткнулись. Тем более не заметив, обо что.

Возвращаюсь как раз к проводам Слепого. Нехотя, с кислым лицом, он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют, но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом.

И если бы не бодрое сфинксово «ага», еще не стершееся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища.

Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу. Потому что, глядя вслед Слепому, он говорит:

– Может, стоило все же послать Нанетту?

– Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет? – уточняет Сфинкс.

Я говорю, что еще неизвестно, что там вытворит Слепой.

– У Слепого развитое чувство долга, – отвечает мне Сфинкс.

Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить.

Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти и на душе все поганее. С изъятием Лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре Курильщика его бы не спасли. Эмоции Лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство.

Не заползи на его плед, не дыхни на его подушку, не пукни у него под ухом! И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение, – и полетят во все стороны книги, подушки и перья! И смотреть, как пугается Курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как Лорд, у нас нет.

Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песни ожидания – самые унылые из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят.

Когда становится совсем невмоготу, убираю гармошку и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонируют законы Кармы. «Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующей сам станет ослом». Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее: кого же в прошлой жизни обидел ты?

На некоторое время сказки отвлекают, потом я опять начинаю нервничать. Кто Лорд Ральфу? Никто. Особенно теперь. Станет ли Р Первый утруждать себя его поисками, только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если Лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух, так что к тому времени, когда Слепой наконец возвращается, все готовы к худшему, и это целиком моя заслуга.

– Без толку, – говорит Слепой, облачиваясь о спинку кровати. – Он вообще никак не отреагировал.

И все. Дальше нам предоставляется утешительная возможность рассматривать Слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и Курильщика, который, как ему кажется, незаметно, отползает от него подальше. Лаконичность Слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить.

Тогда мы переводим взгляды на Сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно.

– О чем вы говорили? – спрашивает он.

– Клещами, клещами! – шепчу я ему. – И скальпелем!

Слепой завешивается волосами и уходит в себя.

– О Волке, – глухо звучит из-под волос.

– А еще о чем?

– Только о Волке.

И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно! С имитацией голосов! Сколько бы времени ни прошло!

– А о Лорде?

– О Лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить.

– И?

– И ни хрена, – Слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок.

– Кажется, он меня не расслышал.

– Хороший знак! – радуется Сфинкс.

Мы с Горбачом переглядываемся. Лэри скашивает глаза к переносице, что в его случае означает усиленную работу мысли. Даже Македонский выглядит озадаченным.

Сфинкс вздыхает.

– У Ральфа не бывает, чтобы он чего-то не расслышал, – объясняет он. – Значит, то, что сказал Слепой, ему не понравилось. А почему? Безобидная просьба. Но чтобы узнать, как Лорд себя чувствует, к нему надо попасть. То есть куда-то поехать, что-то кому-то доказывать и добиваться встречи. Ни одного воспитателя такая перспектива не обрадует. С другой стороны, если бы он не собирался ничего делать, так бы и сказал. Ральф не из тех, кто не умеет отказывать. Поэтому то, что он этого не сделал, хороший знак.

Мы с Горбачом переглядываемся по второму кругу, на этот раз самодовольно. Лэри скребет подбородок и говорит:

– Вот только непонятно...

Что ему непонятно, остается тайной. Мы выжидаем минуты три, но Лэри только чешется и вздыхает, так что, в конце концов, мы о нем забываем и возвращаемся к повседневным делам.

По какому-то непонятному поводу, а может, и вовсе без повода именно сегодня Черный решил напиться. В спальне он появляется, уже осуществив это намерение, пьяный в дым, так что протестовать бессмысленно. Разные люди в нетрезвом виде ведут себя по-разному. Черный делается неприятен. Его и в трезвом виде не назовешь душкой, а пьяный он из числа агрессивных. Так что он слоняется по комнате, как испорченный Терминатор, пытаясь затеять с кем-нибудь драку. Пытается и пытается и все не теряет надежды, пока не раздастся обеденный звонок. За обедом он продолжает свои попытки, но до того неуклюже, что больно смотреть. Сочувствие своему гнусному состоянию он встречает только у Курильщика, и то непонятно почему.

Курильщик. Проблемы тлей и необученных бультерьеров

Инструкция по выживанию колясника в быту

Пункт 1

Следует избегать любых упоминаний Наружности в разговорах, за исключением ситуаций, когда она упоминается:

А) вне связи с говорящим;

В) вне связи с собеседником;

С) вне связи с кем-либо из общих знакомых.

Не приветствуются упоминания Наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание Наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе – легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми-состайниками.

«Блюм» № 7.

РЕЦЕПТЫ ОТ ШАКАЛА

– Вы ведь живете взаперти. В замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения.

– Извращения? – Сфинкс кашляет, дым вырывается у него из ноздрей и между зубами. – Что ты имеешь в виду?

Курильщик колеблется.

– Так... разное...

– Выскажись, – предлагает ему Сфинкс. – Извращения – это неслабо сказано. Хотелось бы понять, что ты имел в виду.

Курильщик с мрачным видом дергает бусину на свитере. Этот серо-зеленый свитер связал для него Горбач. Вокруг ворота и манжет – стеклянные бусины со зрачками, какие носят от сглаза.

– Ты понимаешь, – говорит он, поднимая взгляд на Сфинкса. – Прекрасно понимаешь.

– Допустим, что да. Допустим, мне просто хочется, чтобы ты подтвердил мои догадки.

Курильщик отводит взгляд:

– Я имел в виду ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны... извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми. Даже... даже когда они плохо кончаются.

– Ты опять о Помпее? – морщится Сфинкс.

– И о нем тоже. Но не только, – торопливо добавляет Курильщик. – Это мог быть и не Помпей. Ну хорошо, пусть будет он. Тебе не кажется, что это слишком – зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым? В этом маленьком, затхлом мирке... пожалуйста, Сфинкс, не смотри на меня так! Ведь я прав! Никакое вожачество того не стоит.

Они одни в опустевшей столовой. Стулья отодвинуты от заставленных грязными тарелками столов, скатерти пестрят соусными пятнами и хлебными крошками. Дверь в коридор приоткрыта.

Сфинкс раскачивается, откинувшись на спинку стула.

– Пойми, Курильщик, – говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника. – То, что для тебя ничего не значит, для кого-то – все. Почему ты не можешь в это поверить?

– Потому что это неправильно! – чуть не кричит Курильщик. – Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза! Чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!

В проеме кухонной двери появляется пожилая женщина и смотрит на них, поджав губы.

Сфинкс перестает раскачиваться на стуле, придвигается вместе с ним к столу и аккуратно опускает зажатый в зубах окуроч на край тарелки.

– Это вопрос свободы, – говорит он. – О которой можно спорить бесконечно с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот скажи, к примеру, кто свободнее – бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно, какого растения?

Курильщик не отрывает взгляд от дотлевающего на тарелке окуроча.

– Дурацкий пример. Оба не обладают разумом. Мы говорим о людях.

– Это слон-то не обладает? – удивляется Сфинкс. – Ладно. Пусть так. Оставим животный мир. Можешь, кстати, загасить мою сигарету, если она так тебя нервирует. Возьмем заключенного и президента...

Курильщик морщится:

– Не надо! Умоляю, только не доказывай мне, что узник более свободен. Это все слова. Если тебе хочется отождествлять себя с преступником или с тлей...

– Я просто пытаюсь объяснить... – Сфинкс смотрит через плечо Курильщика на кухонную дверь, из которой только что вышла посудомойка, решительно толкающая перед собой столик на колесах. – Но, кажется, я зря сотрясаю воздух. Ты меня не слушаешь. Каждый сам выбирает себе Дом. Мы делаем его интересным или скучным, а потом уже он меняет нас. Ты можешь согласиться со мной, а можешь не соглашаться. Это тоже будет в своем роде выбор.

– Ничего я не выбирал! – возмущается Курильщик. – Все выбрали за меня. Еще до того, как я сюда попал! Выбрали группу, а значит, сделали меня Фазаном. Моего согласия никто не спрашивал! Попади я во вторую, должен был бы приноравливаться к Крысам. К их дурацкому имиджу, который они себе выбрали до меня и без меня. Это ты называешь свободой?

– Ты же так и не сумел стать приличным Фазаном.

– Но я пытался!

– Если бы пытался – стал бы. Ты просто не захотел. И сделал свой выбор.

– Между прочим, это и твоя вина, что я им не стал! – запальчиво восклицает Курильщик. – Это ты испортил мне репутацию.

Сфинкс смеется:

– И ты жалеешь?

– Нет, но... – Курильщик случайно макает локоть в тарелку с остатками обеда и брезгливо от нее отстраняется. – Я не жалею. Но не тебе после всего этого рассуждать о свободе выбора, – невнятно заканчивает он, вытирая рукав салфеткой.

Сфинкс с интересом наблюдает за ним.

– Слушай. Сейчас ты не в первой и не во второй. Что же тебя так мучает? Какую роль вынуждаем играть тебя мы?

– Быть похожим на вас!

– Разве мы так похожи друг на друга?

Курильщик отбрасывает скомканную салфетку.

– Ты даже не замечаешь! Даже не чувствуешь, как вы похожи. От этого просто жуть берет!

Сфинкс смотрит на него с насмешливым удивлением.

– Мы похожи? Ну не скажи. Я вот считаю, что между мной и Черным мало общего. Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой.

Курильщик улыбается:

– Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так?

– Кто это белая ворона? – изумляется Сфинкс. – Уж не Черный ли?

– Он самый. Тот, кто не разделяет ваших взглядов. Нежелательный элемент.
Сфинкс весело хохочет.

– Черный? Не смей меня, Курильщик! Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса.

– С ним всегда можно поговорить о наружности, – возражает Курильщик. – А больше ни с кем.

– Ну да, – соглашается Сфинкс. – Нужна же ему какая-нибудь фишка. Желательно такая, чтобы действовала на нервы окружающим. Но ты не обольщайся. Он здесь с шести лет. Наружность для него – такое же абстрактное понятие, как для Слепого. Он знает ее только по книгам и фильмам.

– Но он ее не боится.

– Он сам тебе сказал?

Сфинкс встает.

– Хватит. Закончим этот разговор. Если бы ты так не заикливался на том, что тебя никто не понимает, может, у тебя хватило бы сил понять других. Если бы ты поменьше общался с Черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратно, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь...

Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит.

Расстроенный Курильщик выезжает следом.

Черный сказал: «Попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался. Но я-то знаю». В тяжких сомнениях – можно ли считать, что Сфинкс вилял? – Курильщик ищет его взглядом. Но Сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу.

Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло.

Сфинкс шагает быстро. На выходе из вестибюля он останавливается и ищет глазами белесое пятно на паркете.

Когда-то оно бросалось в глаза. Теперь стерлось. И не заметишь, если не знать, что оно все еще там. Сфинкс прислоняется к стене.

Видел бы ты, Курильщик, что сотворили они, когда пришло их время. Если бы ты это видел, то на весь остаток жизни здесь заткнулся бы о Наружности, о запертых дверях и о скорлупках с цыплятами. Если бы ты только видел...

– Мальчик! – окликает Курильщика угрюмая женщина в переднике. – Пожалуйста, никогда не кури в столовой. И назови свою фамилию. Я сообщу о твоём поведении директору.

Курильщик оборачивается.

Старуха держит двумя пальцами крошечный окурочек. Оставленный Сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурочек. *Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь Дом?* Головная боль схватывает клещами.

– Фамилия! – настаивает узкий рот, похожий на щель.

– Раскольников! – кричит ей в ответ Курильщик.

Удовлетворенно кивнув, женщина скрывается в дверях столовой. Курильщик едет дальше, размышляя о том, осмелилась бы она подобным же образом угрожать Сфинксу, и почему ничего не было сказано, пока они сидели там вдвоем.

Проезжая мимо Кофейника, где сидят цепенеющие в клубах дыма Логи, он видит Лэри, машущего ему рукой от стойки, и въезжает внутрь.

– Чего это вы застряли в столовой? О чем секретничали? – Конь ковыряет в ухе заточенным ногтем мизинца.

– Скажи, Лэри, кто, по-твоему, свободнее: бегущий по саванне слон или тля, сидящая на листе все равно, какого растения?

Лэри чешет грудь под многочисленными гайками и крестами:

– Откуда я знаю, Курильщик? Наверное, орел, который надо всем этим делом порхает. А зачем тебе?

– Орлы не порхают, – вмешивается Пузырь из третьей. – Они парят. Бороздят небо. Имеют его по-всякому.

– Сам дурак, – огрызается Лэри. – Не знаешь – не говори. Это корабли бороздят моря. И плуги землю.

Логи в черных жилетках дружно вздыхают.

Курильщик едет по коридору. Видит плакат в траурной рамке: «Помянем Ара Гуля, нашего почившего брата. Вечер памяти усопшего. Кл. комната № 1. Стихи, песни, посвящения. Всех, кто его знал и любил, просим явиться в 1-ю 28 числа в 18:00».

Перед Курильщиком возникает мучнисто-белое лицо с лошадиными зубами и занудный голос, тянущий бесконечную фразу о вреде курения и о болезнях, возникающих в связи с этой вредной привычкой. *Всех, кто знал и любил...* А кто знал и ненавидел?

Из-за плаката выглядывает тупорылое личико Фазана Нуфа.

– Ты приходи, – говорит он. – Тебя приглашаем отдельно.

Нуф держит плакат за деревянные ручки. Плакат на картонной основе слишком тяжел для него, но он горд данным ему поручением и сияет от счастья.

– Приглашаем, как человека, который его знал. Хотя ты теперь и из другой группы. Можешь сказать о нем речь. Приходи.

– А может, все-таки, «приезжай»? – не удерживается Курильщик.

Личико Нуфа злобно сморщивается.

– Ну и мерзкий же ты тип. Не зря тебя поперли...

Он вскрикивает и роняет плакат. Нагибается и, подхватив его за край, быстро отъезжает. Плакат стучит по паркету болтающимся древком.

Курильщик задумчиво разглядывает свой кулак. На костяшках розовая ссадина. Он облизывает ее.

К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы... афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду... Курильщик начинает смеяться. Очень тихо. *Кругом одни пятнышки, тля покрывает листья, все листья в тле, листья, деревья, леса...* Он смеется. Едет дальше. *Приходи. На чем? Приди на колесах, но не упоминай об этом...*

«Послание», – предупреждает стена. Курильщик останавливается его прочесть.

МАЛЬЧИКИ, НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО В РАЮ НЕТ ДЕРЕВЬЕВ И ШИШЕК.
НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ТАМ ОДНИ ОБЛАКА. ВЕРЬТЕ МНЕ, ВЕДЬ Я СТАРАЯ
ПТИЦА, И МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ СМЕНИЛА ДАВНО, ТАК ДАВНО, ЧТО
УЖЕ И НЕ ПОМНЮ ИХ ЗАПАХ.

Мысленно с вами всегда. Ваш Папа Стервятник

Деревья, шишки... Старая Птица с зубами – это больше похоже на птеродактиля!

В спальню Курильщик въезжает, истерично хохоча.

– Какой это к черту лист! – кричит он Сфинксу. – Это даже не саванна! Тля, слоны и зубастые птеродактили! В какой такой саванне их вместе встретишь?

Сфинкс смотрит удивленно. Курильщика вытаскивают из коляски и кладут на кровать. Он смеется все тише, потом просто лежит, рассматривая потолок. Ему на лоб плюхается мокрая тряпка. Пахнущая кофейными лужицами. *До меня ей, наверное, вытерли стол.*

– Что с тобой, Курильщик?

Он молчит, нюхая тряпку.

– У него осенняя депрессия. Пройдет.

– Или не пройдет.

– Тоска по дому, – вздыхает Шакал. – По родильным стенам. Хотя я, кажется, неверно выражаюсь.

– Осознал, что он отброс общества, – глубокомысленно изрекает Горбач. – Это было как удар молнии, озаривший всю его жизнь. Бац – и его подкосило.

– Вы нарочно так себя ведете? – спрашивает Курильщик. – Чтобы меня стошнило?

Тряпка сползает ему на нос.

Слепой тренькает на гитаре, свесив волосы на струны.

– Мальчики, не верьте, что в раю... – дружно затягивают Табаки со Сфинксом.

– Нет деревьев и шишек! – хрустально взмывает к потолку голос Горбача.

– Не веерееее!..

Курильщик зажимушивается.

Кровать прогибается под тяжестью опустившегося рядом Черного. Он краснее обычного и тяжело дышит. Он пьян. Курильщика это нервирует.

– Ну что, я был прав? – спрашивает Черный.

Курильщик садится.

– Не знаю, – говорит он. – Ничего не знаю.

– Прав в чем? – интересуется Табаки. – Кто и в чем был прав?

Черный смотрит на Сфинкса.

– Спорим, вы говорили долго, но он так ничего и не сказал. Он это умеет. Может болтать часами, а потом не вспомнишь о чем, хоть убей.

Курильщик опять ложится. Он надеется, что если лежать неподвижно, голова перестанет болеть. К нему подходит Горбач и трясет гигантским вязаным носком в полоску.

– Эй, Курильщик, здесь будут новогодние подарки. Что бы ты хотел? Надо определиться с этим заранее, может, придется делать заказ Летунам.

– Ходячие ноги, – отвечает за Курильщика Черный. – Влезет в твой праздничный мешок то, что ему по-настоящему нужно?

Горбач хмуро моргает:

– Нет, – говорит он. – Это не влезет, – и отходит.

Курильщик ощущает неловкость. Все смотрят на них с Черным. Не осуждающе, а скорее устало, как будто они до смерти всем надоели. Оба. И хотя Черный только что сделал то же самое, что он сам чуть раньше проделал с Нуфом, Курильщику становится неловко и хочется как-то от этого отмежеваться.

– Не надо, Черный, – просит Курильщик.

– Плевал я на все эти заморочки, – говорит Черный. По тону чувствуется, что он завелся. – На все эти табу. Об этом нельзя, о том нельзя... Я буду говорить о чем захочу, ясно? Это последний год для страусов с упрятанной в песок башкой. Им осталось держать ее там каких-то шесть месяцев, но ты посмотри, Курильщик, ты только посмотри, как они обсираются, когда кто-то осмеливается об этом заговорить!

Гробовая тишина после слов Черного пугает Курильщика, но и вызывает в нем неожиданное злорадство.

Горбач комкает полосатый носок, и лицо его медленно заливает краска.

Табаки в радужном балахоне застыл столбиком, за щекой – непроглоченный кусок.

Слепой – пальцы на струнах гитары, сами, как струны, – лица не видно...

Сфинкс на спинке кровати, как на насесте, с закрытыми глазами...

– Тот о цыплятах, этот о страусах, – бормочет Сфинкс, не открывая глаз. – Даже метафоры одинаковые.

– Заткнись, пожалуйста, – говорит Черный, тяжело дыша. – Не делай вид, что не обоссался. Ты такой же, как они!

– Да уж не как ты, слава богу, – вздыхает Сфинкс. – Знаешь что, если ты закончил давить нам на психику...

– Ну нет, – пьяно ухмыляется Черный. – Я еще и не начинал. Это было так... вступление. Хотел дать Курильщику на вас полюбоваться. А как вы... – приступ беззвучного смеха мешает ему говорить, – а как вы все дружно сделали стойку, а? С ума сойти!..

Он вытирает выступившие на глазах слезы.

– Что ты пил, Черный? – с ужасом спрашивает Горбач. – Ты как себя вообще чувствуешь?

Табаки делает судорожные глотательные движения, пытаясь справиться с застрявшим в горле куском булки.

– Прекрасно! – Черный вскакивает, демонстрируя широкую улыбку. – Я прекрасно себя чувствую!

Курильщик немного отодвигается. Черный хватается за плечо и, обдавая запахом перегара, громко шепчет в ухо:

– Ты видел? Нет, скажи, ты их видел?

– Видел, видел, – морщится Курильщик. Хватка у Черного железная. – Я все видел, Черный. Успокойся, пожалуйста.

– Видел, да? – встряхивает его Черный. – Ты это запомни! Мы еще ими полюбujemyся в день выпуска. Вот когда можно будет сдохнуть со смеху!

Курильщику не до смеха. Он вскрикивает, когда Черный усиливает хватку и, шипя от боли, пытается разжать его пальцы.

– Отпусти, Черный! Пожалуйста!

Черный отпускает его, и Курильщик со вздохом облегчения валится на спину.

– Ладно, что там выпуск! В Наружности я бы хотел их встретить, вот где! Хотя пару минут полюбоваться. Потому что я их там себе не представляю, не получается у меня, понимаешь? Пробую представить – и не могу.

Черный стоит зажмурившись.

– Может, я перевел бы кого-нибудь через дорогу, – бормочет он.

Слепой, угадав в мечтах Черного себя, усмехается. Горбач вертит пальцем у виска.

– Придержал бы свою собаку, если бы она на кого-то из них набросилась...

Табаки, справившись наконец с застрявшей в горле булочкой, раздражается возмущенным визгом:

– Что еще за собака? Какая такая собака? Откуда она взялась? Мало того что ты шляешься где-то в Наружности, выискивая бывших состайников, и перетаскиваешь их с тротуара на тротуар, так у тебя при этом еще какая-то собака! Она что, натаскана нас отыскивать? Науськанная, да? Дашь ей понюхать занюханные у нас носки, а потом говоришь: «Фас, моя крошка»? Этой поганой, поганой...

– Бультерьерихе, – шепотом подсказывает ему Сфинкс.

– Да! Этой бультерьерихе, этой охотнице за черепами! Этой мерзкой твари! Дерьмо какое!

– Уймись, Табаки, – смеется Слепой. – Он же сказал, что придержит ее. Меня вот угрожают перетаскать через дорогу, не спросив согласия, – я и то не жалуюсь. Хотя, может, у меня все имущество на этой стороне останется. И мисочка для подаяния, и табличка «Подайте бедному слепому».

– Придержит? – с горящими глазами выкрикивает Табаки. – Придержит? Ха! Да этих булей нипочем не удержать, если им что втемяшилось в их тупую башку. Они же неменяемые! А эта еще будет специально натасканная, представляете?

– Но ведь и Черный у нас не слабак, согласись, – качает головой Сфинкс. – К тому же это будет его псина, его радость и сладкая девочка. Они будут вместе охотиться, вместе завтракать...

– Заткнитесь, придурки! – кричит Черный. – Шуты гороховые!

– Так и вижу, как они прогуливаются по утрам. Он – в сером пальто в клеточку и она – отрада холостяка – в серой попонке. У него в кулаке старый носок Слепого... в пакетике, чтобы запах не выветрился... они вышли на ежедневную охоту...

– Заткнись! Да вы уже обоссались на самом-то деле!

– Еще бы не обоссались, – хмурится Сфинкс. – Мы просто в ужасе, ты уж поверь. От одного вида твоей собаки...

– Этой безбожной уродины, – встревает Табаки.

– Особенно, когда ее не видишь, – не отстает Слепой.

– Эти ее кривые ноги...

– И пиратский прищур...

– И ошейник с шипами... Ой-ой-ой!

– И серая попонка!

– Оставьте мою собаку в покое!

Вопль Черного тонет в общем хохоте. Сфинкс сползает со спинки кровати и валится на пол.

– Кретины! Идиоты!

Черный встряхивает общую кровать, с рычанием переворачивает ее и, путаясь в собственных ногах, выбегает из спальни.

– Шизофреники! Жалкие ублюдки! – доносится из прихожей. Что-то с грохотом падает, отмечая траекторию его бегства.

– Швабра и ведро с грязной водой, – шепчет Македонский, бережно выуживая Курильщика из-под матраса.

Сфинкс раскидывает ногой одеяла и переворачивает подушки:

– Если он убил магнитофон, пусть лучше не возвращается. Я его самого прикончу.

– Как он нас из-за этой ублюдочной собаки! – радостно орет Табаки, ползая среди осколков. – Чуть всех не раздавил! Вот это сила! Вот что я называю – гордый хозяин!

Курильщик держится за голову, с удивлением отмечая, что она отчего-то перестала болеть. Он тоже не сдержал смех, и теперь ему не по себе. Как будто этим он предал Черного. Одинокого, взбешенного Черного, которого так мастерски довели. Интересно, заметил ли он, что Курильщик тоже смеялся?

Горбач и Македонский переворачивают кровать на место и принимаются собирать вещи.

– А вообще-то... – задумчиво говорит Горбач, – вообще-то бультерьеры очень мужественные и преданные животные.

– Кто же спорит? – спрашивает Слепой.

Горбач пожимает плечами:

– Не знаю. Мне как-то показалось, что вы их недолюбливаете.

Табаки разражается счастливым кудактаньем.

Магнитофон орет в полную громкость, и Слепой поспешно приглушает звук.

– Уцелел. Повезло Черному.

Сфинкс передергивает плечами, чтобы пиджак сел правильно. На щеке его налипли чайники, ворот рубашки стал коричневым.

Курильщик ошупывает шишку на лбу. Должно быть, от нее и прошла головная боль.

– Кстати, а с чего вы взяли, что снаружи у Черного будет обязательно бультерьер? – спрашивает он Сфинкса.

Дом *Интермедия*

В Доме было несколько мест, где Кузнечик любил прятаться. Одним из них был двор после наступления темноты. В местах, где ему «думалось». Для того они и существовали, особенные места, чтобы в них можно было прятаться – исчезая для других – и думать. Станным образом места влияли на «думанье».

Двор отдалял от Дома, позволяя взглянуть на него со стороны, чужими глазами. Иногда ему казалось, что это улей. Иногда Дом превращался в игрушку. Картонный, раскрашенный ящик со съемной крышей. Все как настоящее – и фигурки внутри, и мебель, и самые мелкие предметы, – но всегда можно заглянуть под крышку и узнать, кто куда переместился. Это игра.

Он играл в эту игру – и в другие, для которых существовали свои «думательные» места. За спинкой большого дивана в холле, где пахло пылью и где ее клочья, похожие на серые тряпки, разлетались от дыхания и если просто пошевелиться. Там было сердце Дома. Через него простукивали шаги и проплывали голоса проходивших, там не было отчужденности и мыслей со стороны, только свои мысли и свои игры, как у сидящего в животе Великана, когда слышишь бурчание, стук огромного сердца и сотрясаешься от его кашля. Живот Великана, темный кинозал и – чуть-чуть – Слепой, потому что место заставляло слушать неслышные шорохи, угадывать разговоры по обрывкам, а людей – по шагам, все в полудреме «думанья», а мысли, приходившие здесь, были тягучими, прозрачными мыслями-невидимками – самыми странными из посещавших его. Чтобы выйти из этой игры, он ложился на пол. Надо было лечь, ощутить под собой холодный паркет и холодную кожу диванной спинки; побыв никем, растворенным в пространстве, вновь стать собой, вернуть свое тело и мир вокруг.

Он вытягивал ноги со странным ощущением их длины, силы и спрятанных в них пружин. Сила была везде, но больше всего – в нем самом, и он удивлялся только тому, что она не разрывает его на куски, потому что ей не полагалось уместиться в маленьком теле между стеной и спинкой дивана. Ей полагалось летать ураганным смерчем, закручиваться спиралью, сметать лампочки с потолка и сворачивать в жгуты ковровые дорожки. Кузнечик, прятаясь в животе Великана, вдруг сам становился Великаном. Потом это уходило, таяло, как в конце концов таяли все игры, но, выбравшись из-под дивана, он еще долго чувствовал себя легким, как пух, маленьким и тонким. Он был Великан, превратившийся в мышь, а великанская сила, уменьшившаяся до размеров ореха, пряталась в жалкий замшевый комок, висевший у него на шее.

Сила была похожа на необъятного джинна, смерчем просочившегося в крошечную бутылку. Эту игру он любил больше всех. Она пахла амулетом, Седым и его комнатой. Все его тайные игры выросли из комнаты Седого, из его заданий, которые кормили амулет Кузнечика, как рука Седого кормила треугольных рыбок в зеленом аквариуме. Он играл в «думательные места», в «гляделки» и в «ловилки» – и все эти игры вышли из комнаты Седого, все они были, как корм-порошок треугольных рыбок, прозрачными и незаметными.

«Гляделки», когда он просто смотрел. Стараясь увидеть больше, чем видят занятые собой и своими делами люди. Оказалось, что люди замечают не так уж много, если не приглядываются специально. Если им это не нужно. Играя в «гляделки», надо было смотреть не только на кого-то, с кем говоришь, но на все, что в это время творится вокруг, сколько увидишь, не поворачивая головы и не бегая глазами по сторонам. Кто где стоит, сидит и что делает. Где что находится. Что на своем месте, а что передвинуто или исчезло. Игра была скучной как задание, и интересной, если играть в нее. Из-за нее болели глаза, а сны заполнялись скачущими вспышками. Но он стал замечать многое, чего не замечал раньше. Войдя в комнату, видел пятна, вмя-

тины на подушках и передвинутые предметы, следы того, что происходило в его отсутствие. И он знал: если играть в эту игру долго, научишься угадывать каждого, оставившего такой след, как Слепой различал их по дыханию и по запахам, Слепой, с рожденья игравший в «слушалку» и в «запоминалку» – две из четырех доступных ему игр-невидимок.

Кузнечик ждал. Один день из семи принадлежал Седому. Вечерами, в дни фильмов, он творил в полутемной комнате свое волшебство с сигаретным дымом и со словами – усталый, раздражительный старшеклассник в ветхом халате, красноглазый колдун, знавший тайны невидимых игр. Кузнечик подходил к двери, читал, как заклинания, написанные на ней слова: «Не стучать. Не входить». Стучал и входил. И оказывался в душной, прокуренной пещере, где в темноте прятались Сиреневый Грызун и Кусливая Собака, где кто-то бормотал: «Весна – страшное время перемен...», где в свете настольной лампы струился дым, а Седой Колдун говорил: «Ну, вот и ты». И опускал амулеты от сглаза в винные лужицы. Амулеты смотрели сквозь вино, рыбы глаза – сквозь стекло аквариума, спина Кузнечика покрывалась мурашками, и страшнее и прекраснее этого не было ничего на свете.

Спустя несколько часов ему, засыпавшему в постели, чудилось, что внутри него живет что-то острое, что-то с каждым приходом к Седому делающееся острее, как будто Седой затачивал это что-то волшебным точильным камнем.

Кузнечик и Горбач смотрели на собак. Горбач отряхивал куртку от грязи и снега. Собаки обнюхивали землю и друг друга, а самые нетерпеливые уже убежали в другие места, где тоже могло найтись что-то съедобное.

– Им мало, – сказал Горбач. – Конечно, им этого мало.

– Но это их подкрепляет, – заверил его Кузнечик, – так что они могут искать другую еду.

Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стоял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились поставить в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте.

– Дешевка, – сказал он. – Эта машина.

Кузнечику нравились старые машины, и он ничего не ответил. Нагнулcя посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосулек не было. Они побрели к крыльцу.

– Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил, – сказал Горбач. – Всегда про них думаю – и нехорошо. А как покормлю, проходит.

– А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают, – невпопад произнес Кузнечик. – Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?

– Это потому, что ты «туманно» смотришь. Говорят тебе, не смотри «туманно». А ты смотришь. Так у тебя и носороги побегут. Как у Красавицы бегают его тень.

– Так больше видно, – вступился Кузнечик за «гляделки». Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача.

Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. «Гляделки» Чумные Дохляки вычислили почти сразу. И невзлюбили. Трудно поддерживать связный разговор, играя в «гляделки». Как Кузнечик ни старался, у него это пока не получалось.

– Ага, – фыркнул Горбач. – Больше. Конечно. Например, больше черных кошек, которых нет!

– А что за тень бегают у Красавицы? – поинтересовался Кузнечик, неловко меняя тему.

– Его собственная. Но как бы живая. Ты его лучше не спрашивай. Он боится.

Они дошли до крыльца и постучали о ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. Ведьма. Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки.

Ведьма кивнула. С крыши крыльца капало, и капли отскакивали ей на брюки, но она этого не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела.

– Эй, Кузнечик, – позвала она. – Иди сюда.

Горбач, придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к Ведьме. Она бросила сигарету.

– А ты иди, – сказала она Горбачу. – Иди. Он скоро придет.

Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на Кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему:

– Иди. Ты весь мокрый.

Горбач вздохнул. Потянул дверь и вошел в нее, пятясь, не отрывая глаз от Кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к Ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в Доме и к тому же – его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно.

– Садись, поговорим, – сказала Ведьма.

Он сел рядом на сырые перила, и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы Ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза.

– Помнишь меня? – спросила она.

– Ты назвала меня Кузнечиком. Ты – моя крестная.

– Да. Пора нам с тобой познакомиться поближе.

Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечнику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко. А Ведьма была одета слишком легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть.

– Ты смелый? – спросила Ведьма.

– Нет, – ответил Кузнечик.

– Жаль, – сказала она. – Очень жаль.

– Мне тоже, – признался Кузнечик. – А почему вы спрашиваете?

Черные глаза Ведьмы смотрели таинственно.

– Знакомлюсь. И давай на ты, хорошо?

Он кивнул.

– Любишь собак? – спросила Ведьма.

– Я люблю Горбача. Он любит собак. Любит кормить их. А я – смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю.

Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено.

– Ты можешь мне помочь, – сказала она. – Если, конечно, хочешь. Если нет, я не обижусь.

Кузнечнику капнуло за ворот, и он поежился.

– Как? – спросил он.

Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что Ведьма о них заговорила.

– Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку.

Волосы закрывали ее лицо.

– Ты понимаешь?

Он понял. Ведьма – из людей Мавра. Письма – кому-то из людей Черепа. Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначались письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она

спросила, смелый ли он, поэтому во дворе и вечером, без куртки и без шапки. Наверное, увидела его из окна и сразу спустилась.

– Я понимаю, – ответил Кузнечик. – Он человек Черепа.

– Да, – сказала Ведьма, – правильно. – Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. – Страшно?

Кузнечик промолчал.

– Мне тоже страшно, – она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него.

– Тебе не обязательно соглашаться, – продолжала она. – Я не стану напускать на тебя порчу. Если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет.

– Да, – сказал Кузнечик.

Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа:

– Спасибо.

Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым. Где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с Горбачом.

– Кто он? – спросил Кузнечик.

Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку.

– А как ты думаешь?

Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей Черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться.

– Я не знаю, – сдался он. – Ты скажи.

Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами. Она тихо рассмеялась.

– Почему ты сразу не сказала? С самого начала? Почему?

– Тсс! Тихо, – ответила она, смеясь. – Только не кричи. Это не так уж важно.

– Почему ты не сказала!

– Чтобы ты не согласился сразу. Чтобы подумал, как следует.

– Я буду счастлив, – прошептал Кузнечик.

Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо.

– Конечно, – сказала она. – Конечно... Но ты все же подумай.

– Где письмо?

Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт.

– Вот. Не потеряй, – Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. – Передашь это своему другу. А у него возьмешь другое и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной.

После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен.

– Какому другу? – удивился Кузнечик, но сразу догадался. – Слепому?

– Да. Постарайся, чтобы вас никто не видел.

– И про Слепого ты не сказала. Почему?

Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высывался.

– Ты проверяла мою смелость, – укоризненно сказал Кузнечик. – Ты меня проверяла. Но я и так бы согласился.

Ведьма провела ладонью по его лицу:

– Я знаю.

– Потому что ты – Ведьма?

– Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю, – она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь.

– Пошли. Холодно.

Кузнечик было уже не холодно, а жарко.

– Скажи, – произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. – Скажи, а что ты про меня знаешь?

– Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь, – сказала она.

Черный шатер волос и длинные ноги. Звонкий стук подкованных ботинок по ступенькам.

– Правда?

– Конечно. Это сразу видно, – она остановилась. – Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе.

– Да!

Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся.

Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал, не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. *Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?*

В спальне Слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку, с отрешенным видом терзал гитару. На кровати Горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась, и каждый вечер Горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно.

Кузнечик посмотрел на палатку. Внутри кто-то шевелился. Стенки-простыни подрагивали. Но входной полог был задернут, и ничего разглядеть было нельзя. Кузнечик облегченно вздохнул. Горбач был у себя и занят, а вовсе не стерег его у двери с расспросами, как он опасался.

Вонючка тоже был занят. Нанизывал на нитку кусочки яблок, которые собирался засушить. На полу валялась заляпанная грязью куртка Горбача.

Волк свесил с подоконника ноги.

– Во дворе не хватает походной кухни, – сказал он. – Для нищенствующих собак. Вы с Горбачом стояли бы в белых колпаках, а собаки – в очереди, каждая с миской в лапах.

– Волк, а по мне видно, каким я стану, когда вырасту?

– Кое-что видно, – удивился Волк. – А почему ты спрашиваешь?

– Просто так. Почему-то захотелось узнать.

– Ты, наверное, будешь высокий. И не толстый.

– А еще покроешься прыщами, – пискнул Вонючка. – Все старшие прыщавые, как земляничные поляны. Будешь прыщавый рыжеватый блондин. С баками. Клочковатыми такими.

– Спасибо, – мрачно сказал Кузнечик. – А каким будешь ты сам?

– Я-то? – Вонючка помахал недонанизанной связкой яблок и закрыл глаза. – Вижу, вижу себя! – пропел он. – Через шесть лет. Красавца-мужчину. Мой жгучий взгляд пронзает насквозь всех и каждого. Женщины падают обессиленные к моим ногам. Пачками. Только успевай подбирать их, несчастных...

– Будешь подбирать, не споткнись о свои уши, – предупредил Волк. – А то они подумают, что на них комар упал.

Вонючка оскорбленно отвернулся. Палатка Горбача задрожала и оттуда высунулась лохматая голова:

– Волк, меня тошнит от этой книги. Того проткнули мечом, этого проткнули мечом. Сколько можно? Мне эти проткнутые всю ночь будут сниться.

– Не хочешь – не читай. Никто тебя не заставляет.

Горбач убрал голову и сердито задернул полог. Палатка зашаталась. Волк и Кузнечик встревоженно следили за ней, пока она не перестала крениться.

– Меня, наверное, заберут в Могильник на день или два, – сказал Волк. – Завтра с утра. Ненадолго.

– Почему? – насторожился Кузнечик. – Ты же теперь здоров.

Волк лег на пол и заложил руки за голову.

– Хотят затолкать в корсет. Буду таскать на себе Могильный панцирь, как старая, мудрая черепаха, – он шутил, но в голосе было кое-то, чего Кузнечик давно не слышал.

– Ты боишься? – спросил Кузнечик.

– Я ничего не боюсь, – отрезал Волк. Его глаза сделались злыми.

Кузнечик поежился.

– Не надо, – попросил он, – Волк... Твои мысли пахнут совсем не так, как слова. И это слышно.

Волк приподнялся на локтях, удивленно глядя из-под седой челки:

– Как ты сказал? Мысли пахнут? И тебе это слышно? Я бы не удивился, если бы Слепой такое сказал. Но почему-то так говоришь только ты.

Волк насмехался, но его глаза перестали быть колючими, и Кузнечик успокоился.

– Дермовый лексикон, – шепнул подслушивающий их Вонючка.

– Сам ты дермовый, – вступился за друга Горбач из глубин своей палатки. – Это красиво. Кузнечик говорит, как поэт.

Кузнечик засмеялся. Горбач опять высунулся:

– А если они тебя не отпустят, что нам делать? Вдруг не отпустят?

– На этот случай я пришлю вам письмо с инструкциями, – пообещал Волк.

Вонючка обрадовался:

– Выполним, – пообещал он. – Дом содрогнется, слово Вонючки. Прикуемся цепями к дверям Могильника. Обольемся бензином и начнем перебрасываться спичечными коробками. Все будет проделано на высшем уровне.

– Верю, – серьезно сказал Волк. – С тебя станется такое устроить.

Возле прачечной было темно и пустынно. Кузнечик сидел на полу, у запертой двери, ждал Ведьму и старался думать о приятных вещах. А не о том, что неподалеку кто-то явно дышит, а возможно, что и подкрадывается. И не о том, что дырка в стене подозрительно блестит. Как будто оттуда смотрит чей-то глаз.

Коридор возле прачечной пах дезинфекцией. Лампочка светила тускло, а дальше, в библиотечных отсеках, было совсем темно, и Кузнечик не смотрел в ту сторону, чтобы не видеть чернильные тени шкафов-вертушек, в которые старшеклассники складывали прочитанные журналы. Ему совсем не нравились эти тени. Чем более неподвижными они были, тем меньше нравились.

Его отвлекло гудение лифта. Кузнечик прислушался. Лязгнула дверь, и по линолеуму зашуршали чьи-то шаги. Он встал.

На свет вышла Ведьма.

– Извини, – сказала она. – Я задержалась. Тебе, наверное, было страшно тут одному?

Кузнечик сразу забыл про тени шкафов и про глаз в стене.

– Чего здесь бояться? – сказал он. – Тут же никого нет. Письмо у меня в кармане. А то я отдал Слепому. Как договаривались.

Ее рука скользнула к нему в карман и достала конверт. Кузнечик ждал, что Ведьма его спрячет, но она разорвала конверт и принялась читать. Кузнечик уставился в пол. Ему показалось, что письмо было очень длинным.

– Спасибо, – сказала Ведьма, дочитав. – Ты не очень замерз сегодня во дворе? Было жуть как холодно.

– Нет.

Он смотрел, как она достала зажигалку и поднесла ее к краю конверта. В ее руках разгорелся маленький костер. Она повертела его, перебирая пальцами, наконец уронила последний клочок и затоптала.

– Вот и все, – сказала она, размазав пепел подошвой.

Только теперь Кузнечик испугался по-настоящему. Он знал, что письмо опасно носить с собой, но только увидев, что Ведьма сожгла его, понял, что как ни в чем не бывало ходил с этой опасностью в кармане и даже забывал о ней.

– Ничего, – сказала Ведьма, угадав его страх. – Не думай об этом. Мы постараемся пореже писать друг другу. А вы со Слепым не говорите об этом между собой даже наедине.

– Слепой не станет об этом говорить, даже если мы с ним окажемся в пустыне, – возразил Кузнечик. – Слепой никогда не говорит о чужих делах. Он и о своих-то не говорит.

– Это хорошо. Выходи время от времени после ужина погулять в двор. Один. Если я появлюсь, не заговаривай со мной, а просто пройди мимо, так чтобы я могла спрятать письмо тебе в карман. Хорошо?

Кузнечик кивнул.

– А трудно быть девушкой Черепа? – спросил он, краснея от собственной бестактности.

– Не знаю, – ответила Ведьма. – Не с кем сравнивать. Но думаю, не труднее, чем быть девушкой Мавра.

Кузнечик пожевал ворот своей рубашки.

– Ты знаешь, каким я стану, когда вырасту. Пожалуйста, скажи, каким? Это важно.

– Трудно объяснить, – вздохнула Ведьма. – Такое скорее чувствуешь, а не представляешь, как картинку. Но девушкам ты будешь нравиться. Это я обещаю.

– Они падут к моим ногам, – печально закончил Кузнечик. – Сраженные и обессиленные. Только успевай подбирать и не наступай на уши. Мои прыщи и клочковатые баки сведут их с ума.

Ведьма посмотрела на него странно.

– Не знаю, кого ты сейчас нарисовал. Но только не себя. Возвращайся. Я побуду здесь еще немного.

– До свидания, – сказал Кузнечик.

«Я болтал чепуху, – подумал он огорченно. – А все из-за Вонючки».

Кузнечик сидел на полу и сражался с печатной машинкой. Было готово начало письма. «Привет, Волк. Какты там? Мы хорошо, ждем тебя. Один день прошел, а второй – наполовину. Завтра будем ждать твое письмо с...» Слово «инструкциями» не давалось. Кузнечик забраковал уже два варианта. Над плечом пыхтел Горбач, не решавшийся подсказать.

– По-моему, там должно быть два «и», – сказал он, наконец.

– И инструкциями? – ядовито уточнил Кузнечик.

Горбач покраснел.

– Я не это имел в виду. Не в начале.

– Тогда не говори под руку.

– Передай от меня привет! – пропищал Вонючка со своей кровати.

– До приветов я еще не дошел. И хватит мне мешать! Я так никогда не закончу.

Кузнечик разделался с «инструкциями» и задумался, рассеянно покусывая палец протеза.

– Портишь вещь, – шепотом предупредил Горбач.

Кузнечик убрал палец.

В дверь постучали.

– Войдите, – тонким голосом крикнул Вонючка.

Дверь закрипела, и в нее протиснулись, скромно прижимаясь боками, Сиаменцы – кошмар и гордость Хламовника.

Кузнечик испуганно посмотрел за их спины, ожидая, что следом ввалится Спортсмен, а за ним и весь Хламовник.

Но близнецы были одни. Сделав несколько шагов, они застыли рядышком, как приклеенные. Одинаково одетые, с одинаковыми лицами, неразличимые, как две монеты.

– Вы зачем? – спросил Кузнечик. – Что вам надо?

Слепой перестал гладить книгу с пупырчатыми страницами и поднял голову.

– Мы по делу, – сказали Сиаменцы.

– Очень подозрительно, – заметил Вонючка. – Не нравятся мне такие заходы.

Сиаменцы мялись, шаркая ботинками. Длинные, тощие, тонкогубые и... «какие-то суставчатые» – неприязненно подумал Кузнечик. Из-под соломенных челок торчали крючковатые носы, золотые глаза смотрели кругло и стыло, как у чаек.

– Вы от Спортсмена или сами по себе? – спросил Слепой.

– Мы сами по себе, – хором ответили Сиаменцы.

– Мы пришли, потому что...

– Хотели спросить...

– Нельзя нам тоже в вашу комнату...

– Переселиться.

Они еще теснее прижались друг к другу боками и, повздыхав, замолчали.

– С чего это вдруг? – удивился Горбач.

Сиаменцы молчали. На чужой территории они присмирели и казались не такими противными, как обычно, но и симпатии тоже не вызывали. Белые фуфайки чернели локтями, на шеях висели цепочки с бирками. На одной – буква «Р», на другой – «М». Бирки все время переворачивались пустой стороной, и разобрать, кто из Сиаменцев кто, не помогали.

– Не принимаете? – хмуро спросил левый Сиамец.

Кузнечик не успел ответить. Дверь хлопнула, и в комнату, не замечая Сиаменцев, быстро прохромал раскрасневшийся Фокусник.

– Волк идет! – крикнул он. – Честное слово! Отпустили!

– Ура! – подхватил Вонючка.

Все уставились на дверь. Кузнечик с облегчением подумал о письме, которое не надо было донимать. Горбач радостно дышал ему в затылок. Вонючка зачем-то схватился за бинокль. Сиаменцы незаметно отошли в сторону и перешептывались, бросая на Кузнечика мрачные взгляды.

– Я рыцарь в доспехах из гипса! – объявил появившийся в дверях Волк. – Ищу верного до гроба оруженосца, годного нагибаться и зашнуровывать мне ботинки, ибо я, облаченный в доспехи, подобен черепахе, скованной панцирем.

Он подошел к Кузнечнику и ткнул в него ручкой зонтика:

– Иди ко мне в оруженосцы, отрок. В конце каждого года будешь получать за свои труды кошель с золотом. А в случае моей смерти тебе достанутся эти прекрасные доспехи, которые ты сможешь продать.

Волк поднял свитер и постучал по гипсу:

– Соглашайся. Не пожалеешь. Жизнь твоя станет поистине удивительной.

Кузнечик кивнул.

– Буду просто счастлив. Вот только у нас Сиаменцы...

Волк прищурился на близнецов.

– Верный шлем мой заслоняет обзор, – сказал он. – Скажи, мальчик, не злые ли духи меня искушают, являя взору два столь подобных друг другу образа?

Сиамцы переглянулись.

– Еще бы не духи, – хихикнул Вонючка. – Они самые. Хотят с нами жить. Если мы разрешим.

Волк стукнул об пол зонтиком, и зонтик раскрылся.

– Колдовство, – пробормотал Волк, закрыл зонтик и повернулся к Вонючке:

– Непонятны мне слова твои, отрок. Пещера эта, где мы собрались, принадлежит не нам. С божьего соизволения всякий странствующий хмырь волен забрести сюда, обсушить у костра свой плащ и поведать нам о своих приключениях. Это и есть плата за ночлег. Если эти двое не бесовское наваждение, хотя сходство их лиц мутит мой разум, пригласи их к костру и передай, что мы рады их приветствовать.

Сиамцы оторопело таращили на Волка чаячы глаза.

Волк опять стукнул зонтиком:

– Видно, простолюдины! Не называете имен своих, словно стыдитесь! А может, имена ваши покрыты позором? Может, вы сыны Каина, гонимые проклятьем?

– Н-н-нет, – простонал один из Сиамцев. – Мы совсем не это!

– Рыцари мы, – нашелся второй Сиамец. – В бурю попали.

Волк поиграл бровями, кидая на братьев подозрительные взгляды.

– Сушитесь, – сказал он. – И поведайте нам свою историю.

Он сел на пол.

Фокусник, Горбач и Кузнечик тихо расселись вокруг. Сиамцы переглянулись и тоже сели, скрестив ноги и дружно ссутулившись.

– Влипли вы, «рыцари», – шепнул им Горбач. – Волк эту волынку может до ночи тянуть.

Фокусник, не дожидаясь распоряжений, поставил у себя в ногах гитару, подпер ее табуреткой и подергал струны.

– А-а, – сказал Волк. – Славный менестрель со своей арфой, и ты здесь...

Фокусник бодро кивнул, перебирая струны.

– И пленное чудовище, некогда пожиравшее невинных девиц, а ныне раскаявшееся...

Вонючка всем своим видом изобразил глубокое раскаяние и, свесившись с кровати, издал жалобный вой.

– Велико его раскаяние, – перевел Волк Сиамцам. – Оно ежедневно поминает девиц в своих молитвах, вымаливая прощение у их разгневанных теней.

– Ох-ох, – простонал Вонючка. – Тереза, Анна, Мария, Софья...

– Не будем, – перебил его Волк. – У нас гости.

Воцарилась тишина. Только Фокусник дергал струны, да хомяк, путешествовавший по свитеру Горбача, то и дело чихал. Сиамцы почувствовали, что общее внимание направлено на них, и смущенно заерзали.

– Ты говорил, здоровяки вам не нужны, – сказал левый Сиамец Волку. – Мы не здоровяки. Мы сами их не любим. Мы их, а они – нас. Мы сами по себе. Если нас не трогать, тогда и мы не будем. А они чуть что твердят, что мы воры. И именно что трогают. Теперь еще новички эти.

Сиамец вздохнул:

– Вы нас не возьмете, я знаю, – он покосился на Кузнечика.

«Потому, что мы тебя били», – мысленно закончил за него он.

– Возьмите хоть Слона, а? Он боится. Этого новичка, Родинку. Все время пугается и ревет. Возьмите его к себе. Он тихий, когда его не пугают. Играет весь день.

– Разве он без вас пойдет? – спросил Кузнечик. – Он вас любит.

– Уговорим, – пообещал Сиамец. – Он послушный ребенок.

Это был Макс. Кузнечик разглядел букву «М» на бирке.

– Вы только эту стенку ему покажите, – хихикнул Рекс. – За уши от нее не оттащите.

– До вечера, – подал голос Слепой, сидевший в углу. – Пока он не вспомнит про вас и не начнет реветь. Тогда придется или его обратно, или вас сюда. Или всю ночь прыгай вокруг с носовыми платками.

Сиамицы покраснели и теснее прижались друг к другу.

– Приводите Слона, – сказал Волк. – И сами приходите. Только не надо нас морочить и Слоном жалобить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.